



268



CC 222  
CC 222







СЕРГЕЙ ПИЛИПЕНКО

ПРОСТЫЕ РАССКАЗЫ

*„Прозаици“*









СЕРГЕЙ ПИЛИПЕНКО

~~1766~~

~~3342~~

# ПРОСТЫЕ РАССКАЗЫ

АВТОРИЗОВАННЫЙ ПЕРЕВОД  
С УКРАИНСКОГО

Б3326

Б.31293

23  
" 26

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОЛЕТАРИЙ»

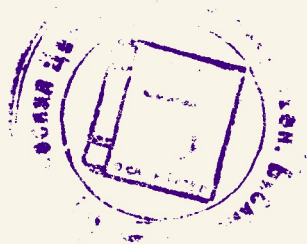
[89179—32(081)=9171]



Упрлит № 1541.

Заказ № 205.

Тираж 4.000.



## Г Р Е Х

Расскажу вам, как я, старый чекист, сильно согрешил однажды.

Разыскивали мы контр-революционный штаб. Это был один из тех „союзов освобождения родины“, которые на иностранные деньги учиняли нам разные гадости, организовывали банды, раскрывали военные тайны, туманили головы населению живыми прокламациями, невероятными слухами.

Агентурные сведения указывали на Екатеринослав, как центр этой милой компании. Оттуда пути вели в Крым к белогвардейским остаткам, которые попрятались от железного напора покойника Фрунзе где-то в горах, не попав во-время на морские суда.

Мне уже не раз приходилось раскрывать такие заговоры. Если бы я жил в средние века, мне наверно дали бы титул святого или, по крайней мере, преподобного—столько сарацинов отправил я к праотцам. Много тружениц должны меня благодарить за то, что остались жить их мужья, много родителей—за то, что видят до сих пор своих детей. Я казнил их палачей... Но довольно хвалиться,— на

этот раз, повторяю, согрешил я в Екатеринославе, так согрешил... Ну, не буду забегать вперед, расскажу по порядку, так как помню все до последней черточки, будто случилось это только вчера.

Екатеринославские мебелишки вы знаете: такой себе двухэтажный домик с грязными чуланчиками-номерами. Тоненькие стенки отгораживают эти, как говорят галичане, „дюпки“ одну от другой.

Приехал я в Екатеринослави лег в такой „дюпке“ отдохнуть. Лежу и обдумываю, каким манером лучше приступить к работе. Очень мне хотелось от этого „союза освобождения“ Украину освободить.

Вдруг слышу— за стеной мужчина с женщиной разговаривают, она его полковником называет, а потом так громко, будто с возмущением:

— Вы посмели явиться сюда?

А он спокойно:

— Как видите!

Она еще громче:

— Вы хотите, чтобы вас тут узнали?

А он еще спокойнее!

— Ну, побойтесь бога, кто же меня может узнать? Меня сам генерал не узнал. Нет, об этом вы, моя хорошая, не беспокойтесь...

Не знаю уж, обеспокоилась ли женщина за стеною, но что касается меня, так будто кто-нибудь жаром обсыпал: услышать такое! Тут, в Екатеринославе, есть генерал какой-то, не узнавший соседнего гостя-полковника. Вот таких-то мне и надобно! Дичь сама в руки идет.

Соскочил с постели и глазом к замочной скважине. Чорта пухлого что-либо увидишь! С той стороны что-то висит, свет закрывает. А слышно хорошо. Тот неузнайка продолжает:

— Думаю вот в Крым, знаете, поехать, на солнышко. Но не один, не один... Думаю, знаете, вам предложить поехать со мной. А? Как вы на счет этого?

Эге, соображаю я возле скважины, прильнувши к ней ухом,— так это крымская штучка! По этой ниточке я и до клубочка дойду. Пригреет вас тогда наше солнышко до-нельзя!

Женщина, видимо, не соглашается, а он уговаривает, подольщается:

— Там будет прекрасная музыка, цветы, наряды, знаменитый повар, вино... и моя любовь, разумеется.

Ах ты, спаситель родины, как хорошо поет! Денег, видно, нагребил где-то достаточно... Что там эта пташка ему в ответ прощебечет?

А она вдруг грозно:

— Другими словами, вы хотите, чтобы я сейчас взяла револьвер и пустила пулю в вашу нахальную рожу?

— Вот так история!— воскликнул мужской голос,— абсолютно не имею такого желания.

— Вот так история!— чуть не закричал я возле дверей: абсолютно не имею такого желания. Живого мне полковника надобно. Видно, она из одной компании, да не одних мыслей. Вероятно, кого-нибудь другого любит, а этот, немилый, навязывается, насильничает.

Слушаю дальше — так и есть, говорит ей:

— Любовников у вас, конечно, было достаточно, но такого, как я, уверен, никогда. Вот вы подумайте: вам хочется схватить меня за горло, задушить, загрызть, а вы в это время обнимаете меня, целуете. А? уверяю вас, это оригинально, пикантно. Мало того, это... не хватает слов изъяснить как следует. В этом есть что-то сатанинское, как сказала одна революционерка, любившая меня точнехонько таким образом.

Ах ты, сатана нахальный, думаю себе: а если я тебя сейчас схвачу за горло, обниму по-чекистски, чтобы знал, как революционерок насиловать? Пикантная будет неожиданность — не хватит слов, чтобы изъяснить, как следует... Ох, что это?

Револьвер щелкает, а женщина во весь голос кричит:

— Убирайтесь отсюда моментально! Буду стрелять!

Вот несчастье! Убьет золотопогонника — и концы в воду...

Беда с любовью да ревностью. Все карты путают, все козыри кроют. Да врет — не будет стрелять, побоятся скандала — ну и арестуют же...

Стремглав из номера в коридор к телofону в губчека: так и так, немедленно агентов ко мне, напал на след белогвардейского штаба.

Снова назад под двери. Не ошибся я: про револьвер уж нет речи. Так пугала, или просто женское сердце размякло. Говорит тихонько:

— Хорошо, я послезавтра еду с вами в Крым.

Он после револьвера не верит, и я под дверью не верю: поедете вы оба любиться да не в Крым... Пусть только агенты придут.

А полковник-таки опытный обольститель! У нее задаточка просит, обещает:

— Там еще не так целовать буду! Слышишь?

Она ему покорно:

— Сюда могут войти...

— Так что же? Пусть входят.

— И войду, подлец ты этакий! Руки вверх!— кричу изо всех сил и плечом выбиваю двери (услышал— агенты по лестнице сапогами стучат).

Вижу— лица перепуганные, дрожат, а на стене висит большая афиша— напечатано:

... Сегодня в городском театре состоится гастрольный спектакль: „Грех“ Винниченко с участием известных...

Таково было мое участие в гастрольном спектакле. После этой репетиции хорошо я эту пьесу запомнил.

## К А Р А

### I

Глубоко вгружают тяжелые смазные сапоги в пушистый снег. Разгоряченное лицо лоснится от пота, а на усах и бороде налипли льдинки. Жилистая рука то и дело снимает их пожелтевшими от табака пальцами, но через минуту они налипают снова. Сдвинутая на затылок шапка обнажила вспотевшие волосы. Мысли мерцают, как искорки на снежинках. Веселые, грустные, безразличные.

— Этак вот напрямик ходить! Опоздал, а токто-нибудь, гляди, и подвез бы... Ну, и народу сегодня на ярмарке! Вон откуда наехали. Да что это за покупатель теперь: еле своих черненьких сбыл. Эх, и волю ж были! Надобно сразу лесу купить да с весной и за хату. Покосилась совсем старая, истлела, как до сих пор не развалилась. Во всем селе только у брата Никона, поди, хуже.. Тяжело Никону, и помощника к тому же нет, как и у меня, вдовца одинокого. Кто знает, в кого пошел Григорий, все гульба да беспутство, беспутство да гульба. Нет того, чтоб отцу пособить хозяйство направить... Эх, жизнь, словно дорога глубококолейная...



Расстегнул тулуп и, тяжело сопя, двигался к переезду. Там, за железной дорогой, недалеко и село. Бугор, сенокосы, речка, хаты... Полчаса ходьбы.

Смеркается. Одинокие запоздавшие вороны, утомленно каркая, спешат на ночлег. На заснеженном поле причудливо танцуют едва заметные их тени. Какая-то пара приостановила лет и кружится над полуразваленной сторожкой возле переезда. Глупые! Там давно никто не живет, не оставляет поживы. Бомба из деникинского бронепоезда целую семью уложила в гроб. Кровавое, страшное место... Посмотрели на разбитую крышу вороны, каркнули еще раз — и во-свояси. Глухо скрипнуло эхо от их крика в пустынном поле. Замерло. Тихо, только сапоги шаркают, уминают сыпучий снег.

Жутко Сазону: вспомнил судьбу железнодорожника. Не знает человек, когда и откуда несчастье придет. Невинного покарает, виновного помилует.

Черной пастью зияет окно сторожки и чудится Сазону, будто в этой пасти что-то шевелится. Рука сжимает кнут — единственное, что осталось от волов, так как и ярмо отдал в придачу. Другая нервно щупает за пазухой тряпицу, куда завернуты бумажные червонцы.

— Вынимай, вынимай денежки, не ленись, — внезапно из окна насмешливый голос и прямо перед глазами смертельное дуло револьвера.

— Парень, не шути!

— Какие там шутики! Клади наземь деньги, не то убую! Ну!

— Опомнись, парень! Что делаешь?

— А туда твою... Ложи, не то — только и жил!

Растерявшись от неожиданности, Сазон покорно кладет дрожащими руками узелок. С ужасом глядит на черное, как вороний клюв, блестящее дуло.

— Становись на колени, молись на последок,— слышно команду,— и дуло приближается к Сазону. Вот-вот каркнет — и нет его, как не стало тогда семьи железнодорожника.

— Посовестись, парень! За что губишь!

— За что? За деньги, вот за что. Чтоб не выдал.

— Да чур ему! Молчать буду. Сжался, не бери на себя греха.

— Молчать будешь! А я знаю? Молись, говорю.

— Ой-ой!

Раздался громкий выстрел и далеко покатился эхом по железной дороге.

Сазон во-время упал ниц. Лежал, не понимая, жив он или мертв.

— Судьба помиловала. Больше стрелять не буду. Только помни: одно слово — и тебя убью и двор сожгу. Меня арестуют — парни отомстят, все равно жить не будешь. Иди, не оглядывайся, растуда твою телеграфным столбом вдоль и поперек!

## II

Ошалелый, шатаясь, словно пьяный, брел домой Сазон. В ушах звенела грязная бессмысленная брань, гулко перекатывался выстрел. Словно щипцами

сдавливало горло, тянуло вниз кончики губ, собирало в морщинки кожу возле глаз.

— Волы мои черненькие! Понапрасну ухаживал за вами, не доедал, не досыпал.. Детки мои маленькие, не видеть нам новой хаты, мягкой постели, хорошей еды. Быть вам батраками, горевать по чужим людям. Не для вас заработал, для разбойника, басурмана-нехрестя!..

Черной тучей вошел Сазон в свою понурую хибарку и повалился на лавку—как был, в тулупе, в мокрых сапогах. Печальные мысли уже покинули его. Остудело глядел на гвоздь, куда повесил ненужный теперь кнут и без конца повторял про себя навязчивую брань:

— Телеграфным столбом вдоль и поперек... А чтоб тебя телеграфным столбом вдоль и поперек!

Почему-то стало смешно, даже всхлипнуло хохотливо в горле и перекосило лицо. Поднялся, провёл рукой, словно смахивал что-то со лба.

— Вот те и ярмарка! Новую хозяйку в новое хозяйство привел. Поженились ухват с кочергой, наплодили черепков с черепочками... На черепки жизнь пошла!

Поймал на себе удивленный взгляд старшей девочки. Она было встала, зажгла лампочку, вытащила из печи горшок с ужином, отрезала хлеба—и стояла перед отцом, не зная, что и сказать. Только когда мама умерла, видела она отца таким.

Сидел он теперь возле стола, оперся на руки и глядел куда-то в пространство. Побелевшие губы

беззвучно что-то шептали. На щеке дергалась жилка. В расстегнутой пазухе тяжело дышала черная, волосатая грудь.

Девочка встревоженно смотрела, боясь спросить. Поняла, что отец с ярмарки принес не радость, а горе. Маленькое сердце сжималось от жалости.

— Кушай, тятя, да кушай же! Немного вот вареников наварила. Маленькие уже поели и спят.

— Ты ж моя большая да разумная! Варениками хочешь утешить? Сухой хлеб будем есть, дочка, вот что!

Склонился над столом Сазон, чуть не плачет. В углу дочурка всхлипывает, понимает, что случилось что-то непоправимое, жестокое, если и тятя так опечален, — тятя, большой и мужественный.

Затрещал несмело сверчок за печью и смолк, сконфузившись. Печаль повисла серой пасмурностью в старой хате. Слышны лишь сдержанные вздохи потерявших надежду людей. Чадно моргает лампочка, играя причудливыми тенями.

Вдруг на дворе сердито лает собака. Скрипят входные двери. Кого несет в такую тяжелую минуту? Зачем?

### III

Ватными хлопьями ворвался в избу морозный воздух. Повеяло терпким холодом. А еще холоднее становилось при виде изодранного, штопанного и перештопанного армяка Никона, облезшей, неопределенного грязного цвета шапки и обмотанных тряпьем ног.

Он был старше Сазона, и горемычное житье глубоко избороздило все лицо, присыпало преждевременной изморозью волосы и сгорбило понурюю спину. Жилые узловатые руки неустанно шевелились, не привыкши к покою.

Не часто братья виделись. Разве что семейный праздник или горе нагрянет. Без дела один к другому не захаживали. Чувствовал Сазон, что и на этот раз Никон зашел в гости не даром. Не без беды наверно.

Но не сразу крестьянин к сути подходит. Привык проселочками ездить, твердой мощеной дороги боится. Лошади, мол, не кованы да и ось деревянная...

— А что, Сазон, ярмарка удачная?

— Да ничего...

— Эх, товар теперь не по цене. Тяжелое житье пошло.

— А когда оно легче было? При господах, что ли?

— Да нет, теперь будто лучше становится. Это я про себя говорю.

— Разве что?

— Не знаю вот, как до весны своим хлебом перебиться. Уже и картошку чуть не всю выгреб.

— Скверно... А Григорий так-таки ничего не делает?

— Да, видишь ли, и ему сапоги новые нужны. Хоть для работы, хоть погулять. Парень ведь молодой, повеселиться хочет.

— Что-то очень уж он у тебя веселится. Даже люди жалуются.

— А что такое?

— Да так, беспутничают парни в селе, и он с ними колобродит. Смотри, чтоб не накликал беды на твою голову.

Потупился Никон, помолчал. Неприятна, видно, была для него такая беседа. Повертел шапку в руках, в землю уставился, снова спрашивает:

— Ну, а волов продал хорошо, как надеялся?

— Да продал. Теперь хоть сам в плуг запрягайся.

— Зато хату новую будешь иметь, хозяйку возьмешь к сиротам.

— Волдырь на лбу буду иметь,— со злостью возразил Сазон, даже плюнул всердцах.

— Разве мало дали? Ведь три сотни собирался взять. Вот и я думал — не дашь ли займы дозимовать?

— Как сам дозимуую... А, все равно от людей не укроешься... Ограбили меня, слышишь?

— Да что ты? Где? Кто?

— Не скажу, брат, не могу... Убьют, если выдам, угрожали.

— Так не говори кто, скажи как.

Рассказал Сазон про свое приключение брату, сердито на него посматривает, даже Никону неловко: будто и я в чем-то виноват, будто и на меня сердится. Может быть за то, что занимать пришел в лихое время?

— По правде скажу, Никон: сержусь и на тебя маленько. Зачем своему Гришке волю дал, зачем позволяешь с хулиганами уличными знаться? Гляди — тоже в какую-нибудь историю попадет. Не оберешься тогда стыда.

Еще ниже понурился Никон, ничего не возразил, а вскоре и прощаться начал.

— Прости,— говорит,— что беспокоить пришел. Только в самом деле трудновато мне, да и Григорию сапоги надобны. Давно уже мне голову грызет: „Хотите, говорит, чтобы хорошую невестку в избу привел,— хорошо и я должен жить“. Вот я и думал...

— Индюки тоже думают,— уже совсем зло прервал Сазон и так поглядел на брата, что тот молча в двери да во-свося.

#### IV

Сырая, неприветливая, еще хуже, чем у Сазона, была хата у Никона.

Залез он на печь, напялил на себя какое было тряпье, лежит навзничь и ткет нудные, безнадежные крестьянские думы. Как жить? Как меньше есть? Кому свои измученные руки продать? Не лучше ли совсем землю бросить и наняться куда-нибудь сторожем что ли? Мечтал от брата помощь получить, теперь, гляди, еще и ему пособлять придется—ведь куча сирот у него... Что это Григория так долго нет? Загулял опять, чего доброго. Мало совести у парня, мало... Карает судьба, а за что — поди, разбери.

Вот и Сазона покарал какой-то злодей невинного. Не из кулаков же он, не из богачей. Сколько лет тех бычков выкармливал, а теперь что?— бедняком стал беспросветным, безнадежным.

Черным вороньем мысли кружатся, каркают. Голодные, печальные, безутешные. И голова Никону кажется гнездом вороньим, взъерошенным, неуклюжим, с дырами между кое-как сложенных веток. Холодное, черное, неудобное. Качается в расщелине на голом скрипящем дереве, проснется с резким криком птицы, сорвется, заплещет тревожно крыльями, снова вцепится крючковатыми когтями в сухую оледенелую ветку. Нет покоя, нет утешения.. Без конца, без края тянется ветреная зимняя сельская ночь. Без конца, без края кружатся зловещие мысли в утомленном мозгу Никона. Болит, ноет измученное тело.

Где-то яростно лают собаки, дико гогочут в ночной тишине парни. Эх, парни, парни! Много среди них сорной травы есть. Уже не в первый раз в Лукашевке грабят людей. Вот и Сазону черед пришел. Обнаглели злодеи. Боятся их люди. Власть еще молодая, по селам не устоялась — давно ли от бандитских отрядов житья не было? Одни махновцы чего наделали..

Беспорядочно путаются образы в истомленной голове. Колышутся лапчатые бурьяны, из них выглядывают хищные вороньи головы, зловеще каркают, широко раскрывают черные клювы. Сильное дуновение холодного ветра — и целая стая вры-



вается в убогую хату. За нею гонятся парни — впереди Григорий, скверно ругается...

Сон отлетел. В сумерках в углу раздевается Григорий. Несет запахом водки.

— Где был, Гриша?

— А я тебя спрашиваю, где ты был?

— Зачем по ночам бродишь?

— Казаку и месяц вместо солнца светит.

— Разве так с отцом разговаривают?

— А разве отцы сыновей босыми водят? Достал денег на сапоги? Дал дядя?

— Да нет...

— Так молчи, в мои дела не мешайся.

— Какие, это твои дела?

— А такие что не твое дело!

Замолк старик, опечалился. Покарала судьба сыном, ох, покарала. Один-одинешенек — и что из него? Как бы не был прав Сазон: придется когда-нибудь и перед людьми краснеть. Теперь еще ничего — хоть с глазу на глаз нивесть что говорит. А дальше?

Слышит Никон: вытягивает Григорий из-под лавки свой сундучок — когда то был его, Никона, солдатский, — открывает, стучит чем-то, потом шелестит какими-то бумажками... Снова щелкает замок, шуршит одежда, скрипят полаты под тяжестью Гришного тела, а через некоторое время ровный храп наполняет хату.

Этот храп не дает покоя Никону. Он, кажется ему, лезет не только в уши, но и в нос, глаза, рот,

каждую клеточку тела, толкает со всех сторон, колет.

Широко раскрытые глаза Никона пристально всматриваются в ночную тьму, пока она не начинает сереть, пока не приходит рассвет. На деревьях снова проснулось воронье, кричит взапуски перед утренним отлетом. Одна где-то каркает во дворе, копаясь в куче навоза.

Никон медленно слезает с печи, крадучись протягивает руку к Гришиной одежде, к карману, где лежит ключ. Голова Никона тихо склоняется над сундуком, старческие руки беззвучно считают деньги: сотня, две, три... Вон еще, еще... Связанные в пачки, придавленные сверху черным револьвером.

Никон осторожно складывает деньги в сумку и кладет на печь. Садится на краю печи, свесивши худые, жилистые, поросшие густыми волосами ноги. Сидит час, другой, третий. Сухие потрескавшиеся губы что-то шепчут. Сухие покрасневшие глаза упорно всматриваются в какую-то трещинку в стене.

На улице ревет скот, прикрикивают на него люди, скрипят колодцы, льется холодная вода в замерзшие корыта.

Недвижимо сидит Никон. Серое, изборожденное горем лицо еще более посерело, остро выдались скулы.

Зевая просыпается Григорий. Ему что-то понадобилось в сундуке. Никон слышит грубую брань: — Ах ты... обокрали! Отец, это ты мои деньги взял?

— Я эти деньги взял, — ровно, приглушенно Никон.

— Отдай, не то беда будет!

— Отдам, — таким же ровным монотонным голо-  
сом отец, — вон там в углу под полатями положил.

— Ах ты... телеграфным столбом вдоль и по-  
перек!

Григорий становится на колени, чтобы лезть под полати, слышит внезапно стон:

— Сын мой, сыночек!

Поднимает на миг голову — и падает ниц, заливая кровью пол. Маленькая хата наполняется едким запахом пороха.

Тяжелой поступью идет Никон к сельсовету. В руке туго набитая сумка. Морозное утро ледяной корой затянуло заснеженную землю. Снег хрустит при каждом шаге Никона. Он оставляет после себя глубокие синеватые следы, словно вдавливая туда свое горе.

## V

Перед переездом остановилась телега. Свисток паровоза пронзительно разрезает воздух, предостерегает об опасности. С рыхлой пахоти, с телеграфной проволоки встревоженно взлетают птицы и озабоченно пересаживаются дальше. Гулким эхом отдается шум поезда в пустой сторожке. Пролетает,

поднимая пасмурную пыль. Падает она наземь, пудрит серью траву по сторонам. На телеграфные проволоки снова слетаются стрижи и тихо качаются в стройном ряду, кивая головками.

На телеге Сазон и Никон. Сазон — веселый, говорливый. Никон — суровый, выпрямленный, сухой, как жердь. Говорит, словно лед рубит:

— Хотел искупить грех. Оправдали советские судьи. Условный приговор дали. Говорят, опасный для трудящихся элемент уничтожил. А я сына, сы-ына убил. Такова судьба: невинного покарает, виноватого помилует... Не могу я в той хате жить. Наймусь тут сторожем.

И сторожем там Никон до сих пор. Свистит паровоз — выходит к нему с зеленым флажком. Седой, суровый.

## БРОНЕВИК

### I

Днем и ночью глухо гудело Черниговское шоссе. В два, в три ряда тянулись из Киева на далекий север обозы. Беспорядочными толпами и поодиночке брели усталые запыленные пешие. Рысцой опережали их одинокие верховые. Сколько глазу видно — шевелился длинный путь, словно громадная серожелтая гусеница.

Не слышно песен, ни громкого говора. Грустные, тревожные лица. Суровые складки на лбу. Из-под нахмуренных бровей злые взгляды.

А вдали тяжелым грохотом беспрестанно орудия. Это под Киевом. Знаменитый треугольный бой. Генерал Бредов возле Дарницы, Петлюра из Василькова. Большевики отступают — нет сил держаться. Печаль на шоссе, безладье, суета.

Ведь тут и бесконечные войсковые обозы, и краснокрестные госпиталы, и эвакуированные учреждения, и беженцы, спасающиеся от белогвардейских истязаний. Тысячи телег, десятки тысяч людей. Поспешной поступью, беспрестанно оглядываясь назад,

где последние боеспособные части сдерживают наступление белых. Вот-вот не выдержат — и те перережут шоссе, единственный путь спасения. Справа и слева от него сыпучие пески, непроходимые болота. Волком смотрит похмурый крестьянин на „коммунию“, бравшую у него разверстку, отнимавшую приобретенное в первые дни революции добро. Не сворачивай с шоссе, прохожий — так или иначе погибнешь! Где-то там, на далеком севере передохнешь, а сейчас — вон сзади все сильнее грохочут пушки, а вон где-то сбоку тарыхтит пулемет. Свой? Чужой? — Кто его знает... Шире шаг, поспешней поступь!

— Стой, мерзавец! Ты чего с винтовкой? Товарищи на фронте, а ты драла? Стой, говорю тебе!

Это застава. Сотня из Козелецкого гарнизона ловит дезертиров, отбирает оружие, формирует новые отряды, возвращает их на фронт.

Крик, проклятья, ругань. Кому охота уходить со спасительного пути?

Вдруг в соседнем лесу выстрелы. Там, говорят, бандиты подстерегают неосторожных. Иногда заскивают и на шоссе, грабят обозы.

Занукали подводчики, зафыркали лошади, затарыхтели высококолесные военные повозки, задевая одна за другую, задребезжали захваченные крестьянские телеги с перепуганными бородачами. Вопли, ругань, крик.

— Куда лезешь вперед, чтоб ты лопнул!

— А ты чего дрыхнешь, рыло неумытое?

— Гони, гони, не оглядывайся!

Стукотня, треск, пыль столбом, бестолковщина, паника неудержимая. Словно стадо от оводов взбесилось.

Построенные было на краю дороги дезертиры снова разбежались. Повозка с отобранным оружием дребезжала где-то вдали, всосанная в общий поток, как щепка в водоворот.

Командир сотни безнадежно махнул рукою и сердито выругался:

— А катись вы колбасой, трусы оголтелые! Ребята, сюда!

Сотня медленно, неохотно собиралась возле дороги. Командир показывал на лес, синевший невдомой гущей вдали.

Шоссе глухо гудело без умолку, без конца... Тысячи колес, десятки тысяч ног. Пыль. Жара.

## II

Командир бригады, поставленной в Козельце гарнизоном (там пройдет после отступления от Киева будущая линия фронта) молча слушал рапорт командира сотни:

— Ничего нельзя сделать. Словно плотину провало. Возвращать кого-либо из этого стада на фронт — только портить там настроение, прибавлять ненадежный элемент. Ведь из лесу какой-то десяток бандитов на все шоссе панику навел. До самого вечера за ними с сотней гонялся.

Комбриг утомленно махнул рукой:

— Знаю. Целый день тут только и работы, что гнать эту толпу дальше через Козелец, чтобы хотя бы тут не нарушать порядок да чтобы жителей эта саранча не объела и не ограбила. Там уж где-нибудь за Черниговом можно будет разобраться в этой каше, рассортировать людей и имущество, разбить на части...

. . . . .

— Товарищ комбриг, вас к аппарату зовут из заставы!

— Ну, вот к ночи еще нивесть что приключилось... Ну, слушаю...

— Товарищ комбриг, беда! На шоссе паника— прорвался откуда-то вражеский броневик.

— Где, как?

— Не знаю. Где-то вдали стрельба, а тут такое делается, будто пожар в деревне. Ледоходом обозы мчатся, людей давят, лошадям ноги ломают. Темно уже — никто сообразить ничего не может, ополоумели все. Что делать?

— Стать на мостике, на пятой версте отсюда. Сейчас пришлю автомобилем динамита. Если будет приближаться броневик — взорвать мостик.

— Слушаюсь.

. . . . .

— Товарищ комбриг, к прямому проводу из штаба требуют.

— Вот еще работы прибавят! Славная ночка будет, не сглазить бы... Слушаю, начгарнизона Козелец.



— На шоссе паника. В направлении фронта бегут назад обозы. Откуда-то взялся вражеский броневик. Это угрожает отступлению армии. Под вашей личной ответственностью вы должны этот броневик уничтожить.

— Слушаюсь... Товарищ комсотни, готовьте отряд снова в поход. Берите заступы, кирки, ручные гранаты.

### III

Через полчаса по безлюдному шоссе затопала частым топотом сотня.

Впереди ехал сам комбриг („под личной ответственностью“), пристально вглядываясь в ночной мрак. Безмесячная ночь была. Где-то далеко на хуторах лаяли собаки. На болоте трещал деркач, посвистывала черепаха, укали жабы. На горизонте иногда вспыхивала змейкой зарница. Душно. По временам лошади храпели и бросались в сторону, почуввав труп околешего животного. Вот опрокинувшаяся телега, вон бросили на трех колесах другую, третью...

— Эх, отступление! Когда-нибудь и мы погоним врагов — и штаны растеряют..

— Стой! Кто идет?

Застава. Мостик.

— Ну, где же ваш броневик?

— Такой ваш, как и наш,—словно запорожцы султану отвечают сторожевые: глаза чуть не лопнули, так высматривали его. Говорили бежавшие,

что версты еще две будет, около другого мостика— на болотной речонке. Мы одного вперед послали, чтобы прислушивался.

— Ладно. Теперь, ребята, по обочинам, чтоб не слышно было. И не болтать!

Осторожно продвигалась сотня дальше. Иногда звякнет подкова или сабля о стремя, черкнет заступ о заступ.

— И зачем нам это хлеборобское барахло?

— Погоди, копать будешь. Будет седло обсиживать.

— Тише вы там, бузотеры!

Полверсты, верста. Впереди холм. Там дальше долина, а в ней—болотная речонка. В канаве часовой от заставы.

— Ну?

— Стоит подле моста. Бойтся, видно, в темноте дальше двигаться наобум. Спрятался под деревьями, как собака под забором или кот в засаде.

— Товарищ комсотни, вы с полусотней тут. Перерыть шоссе, стать полукругом. Чуть что—бомбами в шины. Выстрелы услышите—вперед, в атаку. Вторая полусотня, за мной!

#### IV

Над речкой туман колыхался сизыми космами. Несет из болота гнилью, прелой травой.

Долго полусотня с комбригом шла в обход, отыскивая брод. Чуть спуститься в долину—кони выше

колен проваливаются, болото чавкает, хочет проглотить. Хоть назад поворачивай, не осуществив плана.

Наконец, доехали до кустарника.

— Руби саблями! Мости переезд. Да скоро—ночь коротка.

Два раза не приказывать. И так на конях тело одеревянело, от болотной сырости дрожь пробирает.

Через час намостили узенькую дорожку. Коней— в повод и на ту сторону. Поднялись на гору и снова полем наискось к шоссе, чтобы за версту быть от броневика. Поняли план комбрига, весело топают пахотой.

— Вот мы тебе тоже на зиму вспашем. Не замерзнешь на этакой перине, гость незваный!

Доехали — сразу за кирки, за заступы.

— Ох и дорога! Действительно торная—и железо не берет.

— Хоть зубами грызи, лишь бы канава была, чтобы вскочил — не выскочил.

— Будет, товарищ комбриг! Попадет в западню, как хорек.

Готово! Не пройдет броневик ни взад, ни вперед.

Теперь потихоньку к нему с бомбами.

Лошадей в сторону, чтобы шальные пули не искалечили.

Осторожно, один за другим, гуськом по канавам по обеим сторонам дороги ползли казаки.

— Не выгибайся так, увидит!  
— Да чур ему, на карачках воевать!  
— Тише вы, сметанники! Привыкли по погребам да чуланам лакомиться. Лезь, лезь, не бойся брюхо ободрать.

— А драло б твою маму!

— Тс-с!

Цепь остановилась.

В долинке темнела группа развесистых деревьев, а под ними неподвижно отдыхал броневи́к, причинивший столько страха и тревоги.

Немая, холодная, железная масса. Грозная в своей неподвижности. Источник неисчислимых смертей.

Страшная, жестокая тишина.

— Спят, вероятно, а на дереве где-нибудь часовой сидит. Внезапно выскочить — и наш...

— Передавай дальше: чуть выстрел — в атаку вперед.

— Чуть выстрел — в атаку вперед!

— Чуть выстрел — в атаку...

Снова брюхом по земле две цепи по канavam ползут. Ближе, ближе. Яснеют контуры чудовища.

— Не сопи, задерживай дыханье. Тише, тише...

Ни звука от железного молчалиника. Не шелочнет ветка на дереве. Напряженная тишина. Вот-вот разорвет ее внезапный взрыв.

Руки цепко сжимают гранаты. Спины выгибаются — мигом прыгнуть. Ноги нащупывают опору. Глаза сверлят немую тьму. Уши слышат, как пульсирует кровь в жилах.

Ближе, еще ближе.

Комбриг уже подле самого мостика. Далее в канаве вода. Понемногу выпростывает голову. Револьвер ищет цели то на дереве, то на темном боку броневика. Глаза пристально всматриваются в меловые полосы-надпись, читают:

СМЕРТЬ ДЕНИКИНУ!

Одни смеялись, другие бранились, возвращаясь назад.

— Своего испугались. Бросили, черти, на дороге. Мотор испортился.

На востоке серело небо

## СПЕЦ-РЕПОРТЕР

Редактор „Революционного Молота“ волновался:

— Ну, где этот Михасик запропастился? Тут такое дельце подворачивается, а он шныряет за какими-то глупостями исполкомовскими. Организовали, реорганизовали, переорганизовали... Тфу, сушь какая! Без масла в рот не лезет.

— А с прогорклым еще хуже бывает,—резонно заметил секретарь:—что это вы нашего Михасика обвиняете? Разве не он за день оббегает добрую сотню учреждений, не он вытягивает у начканцев через знакомого машинистку все последние сводки? По-американски работает, настоящий спец-репортер, а вы...

— Да где же он, ваш американский спец? Смотрите вот:

Партком

Совершенно секретно.

Телефограмма редактору „Ревмолота“

Сегодня в 11 час. веч. проездом будет тов. Троцкий. Активу организации в парт-клубе сделает доклад о международном положении.

Секретарь.

— ... Раскумекали? Ну? Вот это материал для репортера.

— Где материал для репортера? Какой материал для репортера? — вдруг затараторила юркая фигурка в дверях.

— Михасик, дорогой! Тройной гонорар за интервью с Троцким. Докажите, что вы не кто-нибудь, а спец-репортер „Ревмолета“.

— О-о! Кредитку на ванька...

Через минуту в окно редактор наблюдал, как Михасик тузил в спину флегматика-ванька.

— И куда его понесло? Сейчас ведь только девять. Поезд в одиннадцать...

... На вокзале Михасик в Ортечека:

— Хотите, товарищ, службу показать? Берите дрезину, едем навстречу проверять путь.

Завертели четыре здоровенных верзилы машину, потащили Михасика.

Изморенные откашливаются на перроне ближайшей остановки, а Михасик уже шмыгает под окнами, выкрикивает:

— Экстренная телеграмма. Революционное и контр-революционное движение в Париже! Лондон возле моря! Из Сан-Франциско дешево переехать в Чикаго! Радио про товарища Троцкого! Троцкий в нашем городе! Доклад товарища Троцкого!

Высокая фигура поманила крикуна из окна спального вагона:

— Что вы там про меня горланите?

— Я — „Ревмолет“. Вот репортерский билет.

Редактор... партком... телефонограмма... Прикажете часовому впустить...

...В одиннадцать часов редактор снова услышал тарактенье ванька.

— Товарищ Троцкий на вокзале принимает членов парткома. Вот вам интервью, вот вам отчет про доклад в партклубе.

— Как доклад? Ведь он еще и не начинался.

— Ну-у! А вчерашние „Известия“? На столе у тов. Троцкого были. Доклад на собрании московской организации. Разве за один день свет перевернулся или тов. Троцкий свои взгляды переменял?

— Михасик! Гонорар — строчка за десять. Варгань подзаголовки, чтоб в ушах трещали, в глазах мелькали. Да здравствует „Ревмолот“!

Михасик чванился, делясь впечатлениями:

— Мне что? Разве мне впервые? Когда-то я у Раковского интервью брал. А потешно товарищ Раковский выговаривет, знаете: вместо незаможные селяне да „незамужние“. А потом еще „положить мечи в ножницы“.

...В типографии работа кипела. Редактор пришел сам выпускать номер.

— Вот Америка! Они там еще слушают, а уж мы верстаем тут полный отчет — хвастливо говорил он, стараясь не пропустить, чтобы после каждого эффектного абзаца стояло в скобках — (бурные аплодисменты).

— Словно там был, — счастливо усмеялся он, идя поутру домой: будто „Times“ или „New-Iork-



Herald“. Вот только резолюция и дебаты, скажу, не поместились — завтра будут...

...Рано проснулся редактор и сразу к телефону:

— Партком. Секретаря. Товарищ, как вам нравится отчет про вчерашнее собрание?

— Какое собрание? Оно ведь не состоялось. Товарищ Троцкий спешил ехать дальше. Вы же знаете...

Телефонная трубка покати́лась на свежий номер „Ревмолота“, где на первой странице крупными буквами красовалось:

ДОКЛАД Т. ТРОЦКОГО В ПАРТКЛУБЕ.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Из кустов торчит лохматая голова. Узенькие прищуренные глаза пристально всматриваются вниз, где под горою ласточкиными гнездами лепятся крестьянские хибарки. По губам бродит неясная усмешка.

Вон она, долгожданная родина! Три года не видел ее, три года среди убийц, воров, разбойников...

Да... Его тогда тоже чуть было не убили. Разве хозяева конокрадов милуют? Ведь некто иной — родной брат чекою ногу ему перебил. В животе с того времени будто что-то оборвалось. Попробуй теперь за соху взяться, в мельницу мешок втащить!..

А все из-за бабы, как кто-то сказал, из-за ангела с дырочкой. Хотел обстроиться, от брата отделиться. Ведь девка-то тяжелая ходила да все:

— Когда же поженимся, Фомушка?

А куда ее возьмешь, если брат волком смотрит, жена его гадюкой шипит:

— Только пашенят в избе и не видели!

Ну и украл. Ну и еще. Понравился легкий хлеб, загулял парень, пока мужики возле лошадей на лугу не поймали.

Били. Привезли в деревню. Били. В волость...

Фома закрывает от страшных воспоминаний. Губы искривились. В руке треснула сухая веточка. Ох, задушил бы! Пошевелился в кустах, словно прыгнуть кошкой собрался на приземистые избы, на палачей своих. И снова припал к земле недвижимо.

Неподалеку шаги. Крутой дорожкой возвращается с поля крестьянин с косой. Из-под широкополой шляпы выглядывает знакомая рыжая, как медь, борода.

Сосед — Гаврила. У него увел тогда Фома вороного жеребчика. В чужом уезде через цыган на ярмарке сбыл.

Обошел сосед кусты, где ежом притаился Фома, недохнет, нешелохнет.

Вот возвращайся домой, когда там врагов, как шмелей над гречихой! Опять же — куда денешься, хромой и больной, со всем тем, что на тебе (уже и шапку загнал по дороге — есть-то ведь хочется!).

Знать бы — как встретят. Может, забыли? Может, простили? Ведь три года в тюрьме за грехи отбывал! Ничего не нужно, только бы жить спокойно на своем наделе. Как-нибудь уж перебьется на десятинке, огород разведет, пчелок что ли...

Фома снова пристально всматривается вниз, где лишаем простлалась в долине деревня. Вечерняя пыль дымной завесой окутывает ее. Не поймаешь — где кучи деревьев, где крыши и скирды. Что ожидает Фому за этой завесой? Мозг упорно сверлит неведомое.

Вспоминает. Когда-то на фронте взял его товарищ летчик с собой в аэроплан. Как на качелях закачало, замутило. Глянул вниз — замер, изумленный. Комья на пахоте все видно — до того прозрачно. Летели над деревней — как соты деревня. Тесно-близко квадратики-дворы один к другому жмутся, а сзади — риги шеренгой выстроились. Вон люди из дверей выбегают, лица вверх. Телята, собаки, куры — во все стороны, услышав гул мотора. В пруду дно яснее, волохатыми полосами водоросли колышутся. Кажется, — немного ниже — даже рыбу всю разглядел бы. Стадо гусей на берегу белеет, каждая птица — как мачинка.

Изумился тогда Фома. Ведь высоко, все это как игрушечное, а видно, словно книжку с раскрашенными картинками держишь перед глазами.

На что уж сад — и в нем каждая дорожка яснее. Вот девушка с коромыслом к колодцу идет под осинами. В кустах вдоль канавы рыжая собака бежит, и кусты ее от взоров с аэроплана не прячут.

Говорил потом товарищ летчик:

— Вверху воздух чистый, прозрачный. Так, вероятно, и те, что вверху сидят, нашу жизнь лучше видят. А мы внизу, сквозь пыль надземную, ничего не видим, ходим, как в тумане...

Плюнул сердито Фома:

„Верно — как в тумане! Вот иди теперь домой — на порог пустят ли? Эх, назад же не возвращаться!“

Поднялся и медленно, прихрамывая, стал спускаться в долину.

Солнце в последний раз моргнуло медным призмуренным глазом между иссиня-черными тучами. Повеяло прохладой, вечерней сыростью.

Фома входил в деревню. Крадучись, под заборами, словно снова к чьей-то конюшне подбирался.

Вот уж и соседа Гаврилы ворота. У калитки рыжая фигура папиросой затягивается. Обойти нельзя.

— Не Фома ли, гляди? Ну да, Фома! Здравствуй! Домой собрался?

— Да так, отсидел уже свое...

— Ну, да, ну, да, — теперь скорехонько выпускают... Свобода! Что ж дальше делать-то будешь?

— Что делать? К тяжелой работе неспособно — тогда вот ногу перебили. Да уж как-нибудь похозяйничаю.

— Ну, да, ну, да, — надо за хозяйство браться. Парень в летах, хоть, наверно, в тюрьме от деревенской работы и вовсе отучился.

— Конечно, дядя Гаврила, и раньше, как знаете, не очень к этому охоч я был. Да нужно приналечь. Сапожничать вот в допре подучился.

— Ну, да, ну, да, — добрые люди тоже помогут в добром деле... А что это ты, парень, без шапки щеголяешь?

— На хлеб выменял.

— О-о! Так у тебя пусто, значит? — Скверное дело, парень! С чем же это ты хозяйствовать начнешь? Раз уже было начал, не сглазить бы... Да

ладно, заходи в избу: накормлю, а может быть и шапка какая ни есть найдется. Как же парню да без шапки?

Удивленно глянул Фома на соседа. Откуда такая доброта у кулака? Не тянет ли, чего доброго, в западню? А есть хочется, инда слюна набегаёт...

— Что же стоишь? Идем, там старуха пирогов напекла, барана недавно зарезали да и чарка найдется. Надо же человека с возвращением поздравить. Да не кобенься же!

— Чего кобениться?.. Поздно только... Домой хотел бы...

— Да брат твой с семьей сегодня в поле нечуют. Ну, да, в поле. Мы ведь и там соседи. Видел.

— Разве что так...

— Иди, иди!

Зашли. Увидев Фому, Гаврилиха всплеснула руками:

— Уже вернулся? Ох, горюшко!

— Не горюшко, а беги, жена, в погреб да неси чем гостя дорогого с возвращением поздравить. Кума Никиту тоже не забудь кликнуть.

Дальше — больше удивлялся Фома. Ухаживали за ним хозяева, как за родным. Вынул из сундука Гаврила шапку хорошую баранью, сам примерил:

— В пору. Носи на здоровье!

Кум Никита тоже обещал на новоселье мешок картошки притащить и вместе пахать Фому подговаривал:

— Чего тебе с братом приятельствовать? Он ведь тебя калекой сделал. А у меня лошадка, как трактор, и плужок есть новенький.

А Гаврилиха платочек шелковый в карман сует:

— Ты ведь девушку-то свою не забыл? До сих пор замуж не вышла, тебя ожидает. Одни, не тебе будь сказано, болтают: „не хотим воровскую любовницу брать“, — а другие тебя боятся: „вернется, мол, отомстит еще“.

— Ну, да,—ну, да,—услыхал последние слова Гаврила, — мстить, паренек, это не по-божьему, не по-хорошему. Мы тебе и муки, если нужно, мы тебе и самогончика не пожалеем...

Охмелевший Фома полез целоваться:

— Соседи вы мои хорошие! Вы мне родных всех дороже. А я в деревню заходить боялся, на околице сумерек ожидал. Видел, как дядя Гаврила с поля возвращался и для привета рта не раскрыл, в кусты спрятался. Разве я знал, разве надеялся, что встретите меня, злодея, как сына родимого, как сватья жениха желанного?

Растрогался Фома, чуть не плачет. Гаврилиха — мягко сердце женское — тоже рукавом утирается, сквозь слезы приговаривает:

— Ты, сынок, только нас не забывай. Мы тебе зла не желаем, так и ты не желай.

— Ну, да,—ну да,—чтобы мирно нам жить,—еще чарочку, Фома! Ну-ка, по паре, чтоб не съели татаре... И четвертую — телега-то на четырех катится... И седьмую, чтоб на седьмой день руки

сложить, на завалинке покурить. Закуривай, ребята, передохнем!

От понедельника до понедельника,  
Пропьем, ребята, всю мы неделеньку...

затянул хриплым голосом Никита. Когда кумовья выводили:

Всякую бросим, ребята, работу,  
Пропьем, ребята, всю мы субботу —

Фома уже не слышал. Утомленное тяжелой дорогой тело склонилось на лавку.

Гаврилиха тихонько шепнула:

— Вот придется воловодиться с вором. На деревню кару заполучили. И не свалится же где-нибудь, злодей, в колодец! Всякое ведь с пьяным случается. Захочет, может быть, воды напиться и перегнется...

Кумовья переглянулись.

— Кто его знает... Дань немаленькую придется давать, чтобы не трогал, грабитель треклятый!

— Ну, тебе, кум, ничего! Вместе пахать будешь. Твоя лошадь — словно и его лошадь, ну, да...

— Ну, да, — ну, да, — передразнил Никита, — самого вором еще почитать будут. Вот не было горя, — ветром нанесло.

Фома этого разговора не слышал. Он сладко усмехался, припав головой к какому-то узелку на лавке. Ему снилось, будто аэроплан поднял его высоко над полями. Клетчатым ковром разостлались они до самого горизонта. Зеленые, черные,



желтые. Желтые, черные, зеленые. Серыми ленточками дорожки, как пояски, а на них сверху каждая колея щелочкой-морщинкой. Вон хитрыми извивами нарушила правильность разноцветных четырехугольников речка. Неподалеку от нее его, Фома, десятинка. Вон и он сам, вместе с дядей Никитой, пашет. Руки крепко налегают на плуг, ноги глубоко врываються в черную, блестящую пахоту.

Нет, не так! Ведь он должен быть на аэроплане. Распростер крыльями руки и плавно подымается с пахоты. Томительно-сладко, как на качелях, как тогда с товарищем летчиком. Немного тошнит, хочется пить.

— Сейчас будет и колодець,—говорит летчик.

Аэроплан гудит, грохочет. Ветер качает его, как лодку на бурных волнах. Внезапно сильное дуновение бьет сверху—и аппарат летит стремглав вниз, на черную, влажную пахоту.

Фома открывает рот, хочет крикнуть, но холодная струя заливает глотку, холодная струя охватывает все тело.

## ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

### I

Секретарь редакции поднял удивленное лицо:

— „Любовные приключения“?! Вы принялись за любовные приключения? Скромный обозреватель будничной провинциальной жизни, режима экономии и новейших технических изобретений — и любовные приключения... Невероятно!

— Уверяю вас, что это в первый и последний раз. Но мне обязательно надо было написать этот рассказ. Я сам его ненавижу. Я мучился над ним, как лоцман на Днепровских порогах. Я не спал целую неделю над этими ничтожными клочками бумаги. Напечатайте их!

Секретарь никогда не видел Карпа Макаровича таким взволнованным. Всегда тихий, с медленными деревенскими движениями коротенький человек, с брюзглим невыразительным лицом геморроидального младшего бухгалтера какого-то подотдела мелкого хозяйственного учреждения — он ровно в девять приходил в свой уголок, перелистывал целые кучи провинциальных газет, копался в рабселькоровских письмах, методически что-то помечал

красными крестиками в технических журналах — и в результате передавал секретарю редакции аккуратно исписанные четкими конторскими буквами гранки бумаги, казавшиеся издали маленькими счетами. Слова, как сухие цифры годового отчета потребительского товарищества, прыгали перед глазами секретаря. Он и не пытался их проверять. Он знал, что Карп Макарович по-канцелярски точно передаст полученные известия, точно обозначит источник их происхождения, точно подаст обусловленное ему число строчек — и точно в четыре отправится из редакции домой обедать куда-то на край города, в серый деревянный облупленный домик с приземистыми цветами на подоконниках за серыми, застиранными занавесками. Там встретит его остроплечая, с реденькими выцветшими волосами жена, такие, как и он, неповоротливые, медлительные коротышки-дети — и там он останется до завтрашнего дня, до девяти часов, когда снова согнется над кучей бумаг в своем редакционном углу.

И вдруг рассказ — „Любовные приключения“!

— Вы должны его напечатать. От этого зависит вся моя жизнь, — повторил Карп Макарович, и на лице у него выступили рыжеватые пятна, а над бровями заблестели капельки пота.

Секретарь еще раз изумленно глянул на новоявленного новеллиста. Необычное поведение Карпа Макаровича не позволяло насмеяться, и он проговорил серьезно и сдержанно:

— Вся жизнь от этого зависит? Но вы же сказали, что это в первый и последний раз. Значит, вы не думаете этой новеллой пролагать себе писательский путь. Зачем же тогда печатать так экстренно и обязательно?

— Я не могу вам сказать, почему это так. Но обязательно и экстренно, если вы не хотите погубить меня... Что заблагорассудится потом, требуйте от меня, нагружайте какой угодно нагрузкой, сокращайте жалованье, но напечатайте этот рассказ, напечатайте мои „Любовные приключения“!

Торжественно-умоляющий тон всегда тихонького Карпа Макаровича победил. Видно было, что в жизни этого человека случилось что-то необычайное.

— Ладно! Я покажу редактору, хотя в воскресном приложении у нас не в обычае печатать любовные приключения. Но своему постоянному сотруднику можно сделать исключение, если, конечно, ваш рассказ представляет художественный интерес.

— Он представляет жизненный интерес,— с ударением подхватил Карп Макарович. — Когда-нибудь я расскажу вам его трагическую историю. Не требуйте этого от меня теперь. Рана еще слишком свежа и болезненна. Не требуйте!

— Да нет же, товарищ! Пусть ваша история останется при вас. Нам с редактором важно удовлетворить читателя действительно интересным и полезным художественным материалом. Давайте вашу рукопись.

Тоненькая ученическая тетрадь, исписанная ровными, аккуратными строчками, перешла в руки секретаря.

— Вам легко будет читать: я переписывал рассказ три раза.

— Хорошо, хорошо! Не беспокойтесь. Завтра будете знать свою судьбу.

## II

Каролина Петровна! Вы знаете — я маленький человек, такой маленький, как человечки в ваших глубоких зрачках. Но разве и маленькие человечки не имеют права на большое счастье? Сделайте меня счастливым, Каролина Петровна! Ведь я не знал до сих пор, что такое счастье. Безрадостен был мой житейский путь, как бесконечная телеграфная линия. День похож на день, как телеграфные столбы. Серые, однообразные. И мысли, как проволока, длинные, нудные, однотонные. Вы ворвались в мою жизнь метеором. Вы же такая метеорная, Каролина Петровна, моя прекрасная Линочка — позвольте мне хотя бы в письме так Вас назвать.

Когда Вы проходите мимо меня, одно непреодолимое желание овладевает всем моим существом: раствориться в легкое облачко, окружить Вас прозрачной лучистостью и так, в сладкой истоме, быть с Вами везде, чувствовать каждый атом Вашего тела, каждый локон на Вашей нежной шейке, колыхаться в такт с каждым движением Вашего тела. Не смейтесь надо мной — я не ишу слов, я пишу

так, как я думаю, а ведь думаю о Вас я всегда, неизменно, неотступно, со сладкой болью и неизмеримой радостью.

Когда Вы однажды забыли на моем столе свои перчатки (это я их украл, простите меня — я не мог их не украсть!) — это был счастливейший день в моей жизни. С того времени они всегда со мной, в боковом кармане моего пиджака. Когда никто не смотрит на меня, я вздыхаю глубоко и часто — и чувствую Ваши перчатки на моей груди. Потом я прижимаю их к своему лицу и жадно вдыхаю их аромат — от них пахнет Вашими пальцами.

Я знаю — вы глядите на меня, как легкий аэро из-под облаков на тяжелые, неуклюжие трамваи которые гонят ежедневно по одним и тем же рельсам туда и сюда, с остановками на одних и тех же местах — всю жизнь, от дня рождения на заводе и до смерти на ржавом кладбище в ремонтном парке. Но ведь и аэро отдыхает на земле. Неужели Вы не можете на миг снизиться ко мне? Линочка, моя прекрасная Линочка, я не прошу чего-либо большого, неосуществимого! Я прошу только иногда побыть со мной, прошу дать право любоваться Вами, не пряча своих взоров, говорить не про служебные дела, а так, как колышется дым над городом — свободно, бездумно. Ведь я Вас люблю. Какая женщина не любит, чтоб ее любили? Пусть это будет неказистый, маленький человек — важно ведь то, что он Вас любит, что Вы центр его помыслов, его мечтаний. Вы становитесь выше от этого, горделивее.

Линочка! Не смейтесь, не издевайтесь, не презирайте меня, моего глубокого, страстного, как мысли матери о больном ребенке, чувства. Не изумляйтесь, если я закончу это письмо такой, может быть, неожиданной, по-мещански прозаичной просьбой:

— Пойдемте вместе в кино... Я слышу, Вы хотите, Вы не в состоянии удержаться от смеха. После всех романтических слов и такое наивное предложение. Нет, не наивное, моя прекрасная Линочка! В кино, когда погаснет свет, Вы не видите, кто сидит рядом с Вами. В кино мы оба смотрим на одно и то же и — мечтаю — быть может, одни эмоции это одно вызовет в наших душах. В кино Вы забудете обычные наши отношения, забудете ту будничную среду, где происходят наши служебные встречи. В кино мы — равные зрители...

А мне... боже мой, какое счастье будет мне сидеть рядом с Вами, почувствовать подле себя Ваше плечо, слышать, как Вы вздыхаете, усмехаетесь, как реагируете на экранные сцены. Линочка! Умоляю Вас — пойдемте вместе в кино. Разве Вам не приятно будет чувствовать, что Вы делаете человека счастливым, что Вы даете ему громадную, неоценимую радость?

Может быть я идеализирую Вас, как идеализируют предмет своей страсти все влюбленные. Но я верю, что доброта в Вас победит, что Вы эту жертву принесете. Линочка, правда? Вы согласны?

Весь Ваш К. М.

(Продолжение в очередном номере).

### III

Редактор с секретарем молча переглянулись:

— Оригинально! Вместо того, чтобы послать по почте или просто передать из рук в руки, желает напечатать любовную записочку в газете. Комедия!

— Н-да! Первый случай в практике... Вы говорите, что он был очень взволнован? Ну, конечно, конечно... Знаете что? Вызовем сюда Каролину Петровну, обсудим дело втроем. В этих любовных историях женский ум скорее разберется, а тем более сам адресат.

Каролина Петровна, новая редакционная машинистка, быстро вошла в кабинет. В воздухе запахло резедой и рисовой пудрой. Темные, немного подрисованные глаза остановились на редакторе смело и упорно.

— Перепечатайте это немедленно и принесите снова мне.

Шелест узкого платья на стройной фигуре, легкий поворот — пошла.

— Она в самом деле недурна! Вкус у него есть. Как я не замечал...

— И не глупа, себе цену знает. Посмотрим, как эта принцесса к предложению нашего скромника-рыцаря отнесется. Неплохой сюжетик для своего „рассказа“ выбрал. Хе-хе-хе!

В кабинете колыхался веселый смешок. На минуту забыты очередные кампании, международные события, отчет о последней партконференции...



Перед глазами там где-то за стеной согнулся над кучей бумаг Карп Макарович, взволнованно ожидая ответа любимой — а она выстукивает на машинке себе любовное письмо.

— Хе-хе-хе! Вот так отпаяли... А девочка немного подкрашивается — хочет, чтобы на нее заглядывались.

— Ничего. Раскрашенная картинка лучше нераскрашенной — это и дети знают. Лишь бы умело это делать.

— Ну, она умеет...

— Что-то долго не идет, вероятно, неловко стало.

Легкий стук в двери.

— Войдите.

— Вот вам ответ. Я получила его с утренней почтой еще перед тем, когда вы мне показали первую главу „Любовных приключений“. Читайте.

#### IV

Если ты, паршивая потаскуха, будешь отбивать у меня мужа и шляться с ним по кино — я не знаю, что тебе сделаю... Все, что может сделать женщина из предместья, слышишь? Оболью серной кислотой твое личико, чтобы никто уж не засматривался, вырву волосы, выковыряю глаза.

Он тебе пишет, что всю жизнь не знал счастья. А я его знала? Десять лет замужем, из них три на беременность и семь на кормление. Вот итог моей жизни. Корыто, кухонная плита и широкая

кровать с выпяченными животами толстых подушек. Знаете ли вы эту каторгу, понимаете ли, что я теперь хочу только покоя, только возможности воспитать своих детей, чтобы не напрасны были все эти муки, все долгие годы тяжелой, безрадостной жизни. Вы хотите и это отобрать? Вы будете смеяться в кино, а я — плакать возле брошенных детей? Он будет приносить вам подарки, а я — не буду знать, чем заштопать детские рубашонки? Сжальтесь, не делайте несчастными горемычных, убогих людей!

Каролина Петровна! Я не знаю Вас. Мне издали указал Вас редакционный сторож, когда я вне себя прибежала узнать, кто это, кому пишет мой муж. Прозорливость ревности показала мне путь в редакцию. Ведь Карп Макарович никогда мне про Вас не упоминал, да и недолго Вы там служите.

Каролина Петровна! Вы — молоды и красивы. Зачем Вам любовь такого невзрачного, неказистого человека? Он не даст Вам того наслаждения, которого Вы ищете. Я видела Ваше тонкое платье, Ваши прозрачные розовые чулки, Ваши модные туфли. Вы хотите нравиться. Вы ищете любви. Но разве такая любовь Вас удовлетворит? Один-два дня — и Вы от нее откажетесь. Вы бросите его, а он — он еще до того бросит нас. Исчезнет и тот суррогат мирной жизни, который мы имеем. Исчезнет мираж приязни, любви.

Я ведь его люблю, слышите? Люблю без памяти, чему свидетели мои дети, мои бедные дети. Когда

почему-либо в половине пятого еще не слышно его шагов на нашем глухом переулке, я не могу усидеть и выбегаю за ворота высматривать моего Карпа. Единственная утеха в моей жизни — когда он меня приласкает. Кто же еще может меня приласкать,—слушайте Вы, молодая и прекрасная женщина,—меня с моим вялым телом, с шершавыми руками, с потертым, рябоватым лицом? Он был мой первый и есть последний. Вы не имеете права у меня его отнимать! Ах, Вы уж и так наполовину его отняли в ту минуту, когда он меня обманул, когда он так в глаза мне солгал! Как удар грома это был для меня и как после удара грома бывает тишина, так я онемела и не могла ничего сказать. Вам передам, как это было.

Когда младшие дети уже спят, а старшенькие еще играют и шныряют по нашим двум комнатам и кухне, муж садится и пишет. Там у вас в редакции слишком шумно, чтобы можно было спокойно работать, а денег нам нужно и нужно... Вы ведь этого не знаете, у Вас нет детей. И я говорю детям:

— Тише, дорогие мои, папа занимается!

Мы все ходим на цыпочках, чтобы не мешать. Мы знаем, что он работает для нас, что его спина горбится от забот про нашу еду, одежду, квартиру, дрова.

Наскоро я успокаиваю детей и укладываю их спать, а сама сажусь возиться с их бельишком. Все, что я позволяю себе, это тихо подойти к мужу, обнять его за склонившиеся над столом плечи и нежно поцеловать в висок:

— Работай, мой дорогой, мой родной Карпик!

Так я сделала и в тот зловеший вечер. Можете ли Вы представить мой ужас, мой холодный ужас, когда через плечо мужа я увидела листок почтовой бумаги и на нем схватила там и сям отдельные строчки:

„Каролина Петровна, сделайте меня счастливым!.. Я Вас люблю... пойдёте вместе в кино..“

У меня сердце остановилось и ноги похолодели. Я не могла оторвать глаз от этих ужасных слов. Вся жизнь разбита. Десять лет нужды и муки навеки пропали понапрасну. Мои дети — сироты. У моих детей нет отца. У меня нет уже мужа.

А он, испуганный неожиданностью, прикрыл листок дрожащей рукой и виновато прошептал:

— Это я начал такой рассказ. Видишь, теперь никто не пишет любовных рассказов. Пролетарские писатели считают, что это им не к лицу, — как будто пролетарии не любят! А читатель уже изголодался по любовным приключениям в литературе. Вот мне редакция заказала для воскресного приложения... Попробую...

Наивная, наскоро придуманная ложь. Мой муж — и рассказ с любовными приключениями! Я отошла молча, я не спала всю ночь, а утром узнала, что Вы — причина этой лжи, причина моего несчастья.

И вот пишу, заклинаю: не губите меня. У Вас также когда-нибудь будет муж, будут дети. Подумайте, взвесьте, сойдите с моего пути. Иначе я за себя не ручаюсь. Я наделаю беды и себе и Вам.

Я — жена, я — мать. Вы знаете, как кошка защищает своих котят? Вы знаете, как наседка бросается на собаку? Вы будете собакой, если затронете мой тихий уголок! Вы уже затронули его, я Вас ненавижу. Бойтесь меня, бегите от меня, бегите от моего мужа. Слышишь, мерзавка! Иди прочь, так как я сама себя боюсь...

## V

Глаза редактора быстро пробежали нервные женские строчки.

— Гм... Глава вторая „Любвных приключений“, по-моему, сильнее первой, а третья обещает быть даже драматической... Что же делать, Каролина Петровна?

— Напечатайте ему эту первую главу, — твердо молвила машинистка.

— Так! Доброе сердце принцессы сжалось над судьбой несчастных сирот. Похвально... Однако газета рискует обмануть читателей и не дать им конца „Любвных приключений“.

— Я... я пойду с ним в кино, — тихо сказала Каролина Петровна, — а перчатки прикажу мне вернуть. Ведь теперь все дело в перчатках.

— Конечно, в перчатках, — с ударением окончил редактор, поглядывая на ее тонкие пальцы.

## КОГДА ПЛАКАЛ ОТЕЦ

Горе Петрика неудержимо.

Сегодня, когда всюду трепещут знамена, когда по улицам плывут радостные толпы народа и все товарищи поют бодрые первомайские песни, когда в окна бьются плещущими волнами звуки оркестров — сегодня оставаться дома? Ни за что! Никогда!

Петрик пробует встать с кровати, но острая боль в ноге заставляет его снова лечь.

Петрик-герой. Вчера спас жизнь соседке-девочке Фане. Мала еще она, глупа. Вышла из двора и идет прямо по трамвайным рельсам, какое-то колесико палочкой гонит. Сзади трамвай звонит, вот-вот наедет. А за трамваем, его обгоняя, извозчик коня-рысака пустил во всю конскую рысь. Не видно ему из-за трамвая девочки. Испугается она звонка, бросится в сторону — и попадет просто под ноги лошади.

Увидел это Петрик и ринулся к белому смеющемуся клубочку. Мигом перебежал улицу, схватил Фаню на руки и вынес ее из-под самой лошадиной морды.

Однако — то ли оглоблей, то ли колесом — толкнуло таки его, и вот лежит теперь мальчик с компрессами на ноге, не может некоторое время ходить.

А снаружи слышно, как стрекочут над городом громадными белыми стрекозами аэропланы, как в стройный хор сливаются маршевые песни, как четко шагают воинские части, идя на парад.

Глаза Петрика наполняются слезами. Он не может их удержать, и они соленым ручейком текут по побледневшему, грустному личику. Словно сквозь туман едва видит он, как медленно одевается отец, собираясь на манифестацию. Вчера утром обещал он взять Петрика с собой.

— Будут мимо нас проходить железнодорожники и мы к ним присоединимся. Около ворот подождем своих. Смотри — не проспи.

Не проспал Петрик, но не итти ему вместе с отцом...

Горькая обида еще сильнее сжимает горло, выдаетливает оттуда хлюпающие звуки.

— Чего плачешь, Петрик? Больно? Переменить компресс?

— Н-нет... Жалко!..

— Чего тебе жалко, сынок?

— Себя жалко... Что не пойду...

— Ничего, Петрик, пойдешь в другой раз. Каждый год будет первое мая и каждый год все праздничнее. Ты еще мал, насмотришься.

— Я сего-о-дня хоте-ел! Там ве-е-село. А но-га-а болит.

— Ничего, Петрик. Это почетная боль. Это — как рана на войне. Не плачь, сынок, пройдет.

На лицо отца набежали тени какой-то грусти. Будто что-то невеселое вспомнил...

Он подошел к окну и широко раскрыл его. Словно танцуя, ворвались в маленькую комнатку звуки веселого марша:

Сами набьем мы патроны,  
К ружьям привинтим штыки.

За воинской частью темнеет рабочая колонна. Красное знамя реет впереди, золотыми буквами блестит на солнце:

Наш паровоз летит вперед!

Мастерская рука вышила на знамени локомотив, а на нем машинистом — Ленин. Пристально всматривается в даль — будущее человечества.

Это идут железнодорожники. Отец Петрика видит уже знакомые лица, различает отдельные голоса товарищей.

От края до края не громы гремят—  
Дружины рабочих на битву спешат.

Отец весь высовывается из окна, будто прыгнуть хочет туда, в массу синих и черных блуз. Губы шевелятся, повторяя беззвучно знакомые слова Франка:

И поклик рокоchet: вставайте, народы!  
Пришла уж пора, пора — день свободы!

Могучие, грозные раскаты пролетарского гимна вот-вот, кажется, разорвут маленькую комнатку,



вынесут оттуда, словно на крыльях, все живое туда, в многотысячную рабочую манифестацию.

Отец отрывается от подоконника и поспешно хватает фуражку. На лице воодушевленная торжественность. Взор горит отвагой.

Вдруг взгляд его останавливается на кровати, где, свернувшись в клубочек, сжалось маленькое тельце Петрика. Личиком припал к подушке. Худенькие плечики вздрагивают от сдерживаемого рыданья. Руки судорожно теребят край плохонького одеяла.

Отец остановился. Постоял. Тихо повесил фуражку на гвоздь и осторожно сел на кровать возле Петрика.

— Полно, сынок! Я буду с тобой. Успокойся!

Не сразу это удалось. Обида была слишком остра, слишком болезненна. В самом деле: пропустить такой праздник, остаться одному, когда весь город на площадях, весь город пламенеет в знаменах, купается в песнях и музыке. Так может обидеть судьба! И за что? За что? Горе вновь сжимает Петрику горло, и он не в состоянии глядеть на отца, он снова прячет лицо в подушке. Так жаль себя, так жаль!..

Шершавая отцовская рука нежно гладит его светлые волосы.

— Успокойся, сынок! Успокойся же. Расскажу тебе, как когда-то я тоже плакал от обиды и досады.

Отец плакал от обиды и досады? Отец плакал? Такой мужественный, суровый, большой, словно из

металла вылитый человек — и плакал. Невероятно! Отец шутит. Этого не могло быть.

Петрик сквозь пальцы, размазывая по щекам соленые слезы, смотрит на отца удивленными глазами.

Лицо отца задумчиво-строгое. Глаза смотрят куда-то далеко-далеко, погружаясь в воспоминания. Губы сурово сжаты. На лбу глубокая страдальческая складка.

— Расскажи, папа, что с тобой случилось. Наверно очень больное, если ты плакал?

— Больное, сынок, ох больное... Слушай тихонько, какой мне был когда-то праздник.

Твоя мать служила тогда уборщицей на одной маленькой станции. Ты был совсем маленький — вот как Фаня, даже еще меньше. А я ездил кондуктором на товарных поездах.

Была война. Та война, которая освободила рабочих — гражданская. У рабочих было войско — Красная Гвардия, у буржуазии — белая.

И вот белые захватили станцию, где были твоя мать и ты. Мы, рабочие, решили выгнать оттуда противника, так как на станции было много военного имущества, необходимого нам для восстания.

Ночью повели мы наступление. Тихо подкрались к станции и бросились на противника с бомбами. Он не ожидал этого и кинулся бежать к местечку в нескольких километрах от станции. Там стоял большой отряд белогвардейцев.

Мы разделились на две части. Одна должна была собрать на станции разное имущество, оружие, про-

довольствие, телефоны — все, что нужно для войска, и повезти назад, на соседнюю станцию, где был наш повстанческий штаб.

Другая часть должна была преследовать врага, отогнать его прочь и не дать возможности помешать работе нашей первой части.

Твоя мать осталась помогать товарищам перевязывать раненых, а я с винтовкой отправился прогонять врага. Не успел даже поздороваться с ней, двух слов сказать...

Мы бежали вдоль узкого шоссе, ведущего к станции от местечка. Оно едва серело в ночной темноте, и только старые ветлы по обе стороны казались какими-то грозными страшилищами. Время от времени мы останавливались, падали на холодную землю и торопливо стреляли в ночной мрак. Оттуда щелкали ответные выстрелы, жалобно сычали и фьюкали пули, иногда высекая голубые искры на мостовой. Умолкали.

Мы снова поднимались на ноги, бежали вперед, спотыкаясь на канавках и межах, падали и снова стреляли.

Я как-то отбилсь в сторону, на поле, и к тому же далеко вперед от своих. Погорячился.

Лег в канаве. Ожидаю, пока догонят товарищи. Винтовка горячая от стрельбы. Думаю: вернусь назад, возьму твою мать, возьму тебя, отвезу далеко от фронта, чтобы не приключилось какого-либо несчастья. Довольно уж того, что при атаке боялся, как бы от наших же бомб беды не было.

Слышу — реже стали выстрелы. Там, там. Там, там. Прекратили, видно, товарищи преследовать врага.

Сорвался я на ноги, хотел догонять своих. Вдруг что-то обожгло ногу — ты помнишь, когда мы купались, я тебе показывал два беленьких пятнышка под коленом?

Упал на пахоту. Нет сил итти с перебитой ногой. Даже зубы стиснул от злости — ведь и пуля, кажется, была с нашей стороны. Так, случайно, во тьме в меня попали.

Стал я понемногу ползти назад к станции. Тяну за собой ногу, словно не свою. Где здоровый человек сделал бы двадцать шагов, я — один. А тут еще вспаханное. Лезешь по глыбам, словно челнок на бурных волнах. Кровь струится. Одежда мокрая до самых пяток. Разорвал рубашку, затянул туго ногу выше колена, чтобы кровь туда не сбегала. Занемела нога, стала тяжелая, как колода.

С трудом добрался к шоссе. Потерял сознание. Сколько лежал — не знаю. Пришел в себя — совсем тихо стало, а тьма — еще хуже. Только звезды где-то высоко моргают, небо словно живое, и ходит там кто-то с тысячью фонариков, колышется. Колышется и у меня в голове, тошнит. Пить хочется — кровь бы свою сосал.

Собрал последние силы, пополз гусеницей по шоссе дальше. Уже и здоровое колено на мостовой до крови сбил. Будто голой костью ступаю.

А хуже всего было, когда по дороге мостик попался через канаву с водой. Разобрали его товари-

щи, отступая, чтобы врагу испортить путь. Одни брусья остались, на которых доски лежали. Повозился я на этих брусьях, проклял было все на свете. Это не то, когда ты на железнодорожных рельсах балуешься. Там падать некуда и две ноги у тебя...

Отец встал с кровати и нервно заходил по комнате, собирая воспоминания. На щеке дергалась жилка. Кулаки сжимались, словно к бою с кем-то.

Петрик замер, пораженный рассказом отца. В воображении темная, как пустая топка, ночь, голая, холодная земля, а на ней одинокий, беспомощный человек оставляет за собой кровавый след. И этот человек — отец!

Петрик молитвенно сложил ручки, прижал их к груди — вот-вот оттуда выпрыгнет маленькое, переполненное любовью к отцу, горячее сердечко.

— Дальше, ну, дальше!

— Дальше, сынок, было еще хуже. Не знаю уж, сколько времени я полз по шоссе, так как каждый шаг казался длинным, как целый перегон, и каждый вздох, как гудок возле семафора.

И вдруг я услышал грохот поезда где-то там, вблизи от станции. Очевидно, прислали из штаба забирать добычу и наш красногвардейский отряд.

Сердце у меня сжалось: вот поедут, а я останусь тут на дороге погибать, или, быть может, заберут беззащитного враги.

Нет, не беззащитного! Винтовку не бросил, хоть и мешала она ползти. Решил так: если уж придется

итти в плен, засуну себе в рот, ногой курок зажму—живым не возьмут.

Так решил, а сам сколько силы есть ползу, как собака с перебитым задом. Уже и боли будто нет. Одна мысль—как можно скорей к станции, к своим,—хоть так, чтобы крик услышали.

А там, слышу, паровоз ворочается, по станции, видно, вагоны собирает. Далеко ночью слышно, как дышит тяжело машина, как грохочет на скрепах колесами.

Услышали, вероятно, этот грохот в местечке и белогвардейцы.

Охнуло что-то вдалеке, а потом

— шу-у!—шу-у!—шу-у!—

снаряд летит орудийный и как ахнет где-то в полукилометре от меня.

Я так и прилип к земле, но не успел и опомниться, как второй снаряд летит, огненным фонтаном на шоссе вспыхивает.

Негде укрыться. Голая, ровная земля, только канавки неглубокие по обе стороны шоссе. Скатился туда и лежу, дрожу, как щенок заброшенный.

А противник хорошо метит: один за другим снаряды вдоль шоссе ложатся и все ближе ко мне.

Триста метров, двести, сто...

Вот следующий упадет прямо около меня—и довольно мучиться, прощай, жизнь!

Даже похолодело, онемело внутри. Язык, горло, губы сухие стали, как ременные. Глаза зажмурил,

а в них колесом сияние какое-то мерцает, вертится.

Ж-жах! Разорвалось где-то впереди и мелкие камешки — на спину, на голову. Буду жив! Перелетела смерть!

А так было досадно, обидно стало, что погибну там понапрасну, что убьет меня уже раненого, недалеко от спасительной станции, где товарищи, жена и ты, милый Петрик, — так обидно, так жаль мне себя стало, что я уж тогда чуть не заплакал. Не было только времени — едва сдавило в груди, защекотало в горле — тут и снаряд разорвался. Тогда отлегло...

Блестящими глазами глядел Петрик на отца, переживал его невзгоды, сравнивал:

— Это, папа, как со мной вчера: и подумать ничего не успел, как налетел извозчик. Так и покатишься по мостовой... Только я плакал. А ты, папа, когда же ты плакал? Ты ведь тогда спасся?

— Ну, конечно, сынок! Ведь видишь меня живого и здорового... Спасся я тогда быстро. После того снаряда, который страху мне нагнал, выстрелил противник еще несколько раз — уже в самую станцию попал. Последним снарядом прямо в станционное здание угодил. На этом и успокоился. Боялся, видно, что мы по шоссе будем наступать — вот и обстрелял дорогу, чтоб ему стреляло под все ребра...

— Но как же ты все-таки спасся? Вероятно, эшелон не успели отправить, не торопились? — спросил

мальчик печального отца, сидевшего теперь возле стола, опершись на ладони и опустивши голову от грустных воспоминаний.

Манифестация прошла куда-то дальше. На опустевшей улице было тихо, только где-то вверху глухо дрожал аэропланый мотор да издали басом гудела речь из громкоговорителя...

— Что, Петрик? Да, да—на станции наши торопились, испугавшись обстрела. Но я догадался: взял винтовку и стал стрелять в воздух. Наши подумали, что наступает снова противник, и выслали разведку. Я им закричал, и меня принесли на станцию.

Снова умолк отец, вспоминая давно минувшие картины, острые впечатления. Встал, машинально прошелся по комнате, машинально сел на кровать и положил жесткую руку сыну на голову. Будто не тут отец, будто перенесся весь туда, на далекую, неизвестную станцию.

— Но когда же ты все-таки плакал?—тихо, несмело спросил Петрик, чувствуя, что касается болезненной, разбереженной раны.

— Там, сынок, уже на станции... Меня принесли без сознания—пока несли, снова кровь ключом пошла—и положили в вагон с другими ранеными. Один снаряд тогда особенно много вреда принес—тот, что в станционное строение угодил. Убил многих...

Лежу я, ничего не слышу, ничего не знаю. Вдруг паровоз толкнул вагоны—прицепливал, вероятно,



к поезду. От толчка меня качнуло и я больно ударился раненой ногой об своего соседа — в повалку на полу товарного вагона лежали.

Резкая боль привела в сознание. Слышу — стоны вокруг. Проклятый паровоз всем боль причинил. Темно, не видно, кто стонет.

Спрашиваю соседа:

— Я, нечаянно, не ударил ли?

Молчит сосед, не отзывается. Трогаю его рукой — его рука около моей лежит, холодная, окочевшая. Мертвец.

Отодвинулся я немного, чтобы снова не удариться, сам кричу:

— Эй, кто там живой на путях! Дайте воды раненым да света какого-нибудь.

— Обожди, товарищ, — кто-то отвечает, — вот состав поезд — все будет. Надо же женщин и детей забрать — не помилуют белые, если оставим.

Верно, думаю: как это твоя мать, Петрик, и ты у меня из памяти выпали? Не за вас ли я дрался, муки принимал, а теперь эти муки весь свет заслонили.

И лежу уже молча, не шевелюсь.

Двигают наш поезд с пути на путь, что-то гуторт там на рельсах, носят, грузят, вагоны паровоз снова толкает, гремит буферами.

Терплю, только еще дальше от мертвеца отодвигаюсь.

Вдруг скрипят двери, лезут в вагон товарищи с водой, с полотном для раненых, фонарь зажигают.

Один ко мне наклоняется, спрашивает:

— Ну, у тебя как? Повернись-ка немного, по-свечу, посмотрю.

Поворачиваюсь я лицом к мертвецу... Ох, Петрик, это была твоя мать! Ее убил тот последний снаряд, когда она в зале ухаживала за ранеными... Тогда я заплакал, сынок, вот тогда я заплакал...

Петрик уже давно плакал, молча, беззвучно, не шевелясь, обливая слезами отцовскую черную руку.

А на улице четко выбивал такт пионерский барабан и молодо звенели голоса юной смены.

## СТРАХА РАДИ КОМИССАРСКОГО

Скорый поезд приближался к Елисаветграду (тогда еще так Зиновьевск назывался). Полный старик в купе мягкого вагона вынул из портфеля телеграмму и еще раз пробежал ее глазами:

Харьков 2-ХІ—23 г.

Харьков Мединститут Профессору  
Штольману

Спешно выезжайте Елисаветград заражение  
крови роженицы спасайте.

Завздравотделом Нападюк.

— Успею ли? — думал старый профессор, готовясь к выходу, — телеграмма смертью пахнет. Напрасно, вероятно, и выехал. Тем не менее...

На перроне его уже ожидал завздравотделом, худощавый мужчина з нервным желтоватым лицом. Через несколько минут прекрасные лошади мчали обоих в город.

— Спецы липовые, чорт бы их побрал, — бранился дорогой Нападюк, — говорю им: смотрите, ведь это жена нашего предчека. Только случится

что-либо — и-ну... Заразили, мерзавцы! Не иначе, как нарочно заразили; контр-революция шипучая!

— А стрептококковую сыворотку пробовали? — прервал бранчивого спутника профессор.

— Вот то-то и есть! Сам привез я роженицу в горбольницу. Приятель мне предчека, так я с самого начала пользовал. Смотрите, говорю, горячка начинается, горячка, слышите? Стрептококковой надобно. И представьте себе: прихожу на следующий день — и не пошевелились. Давай, говорю, сыворотки, иначе в подвалах сгною, гады вы ползучие! Забыли, с кем имеете дело? Да, верно, поздно уж было. Еще ухудшилось. Тогда вам телеграмму бахнули. Спасибо — приехали. Покажите этим клизмам резиновым свою науку, а мы уж свою покажем...

Лошади стали. Выбежал встречать гостей главный врач с перепуганными глазами.

— Дайте, коллега, умыться и покажите скорей больную.

Старый профессор осматривал роженицу и лицо его все более хмурилось. Завздравотделом метал грозные взгляды на врачей, с напряженно-виноватым видом следивших за движениями столичного гостя. Тишину, наконец, прервал его повелительный голос:

— Дайте историю болезни! Температурный листок.

Десяток рук сразу потянулся выполнять приказание. Десяток глаз внимательно следил, как качал головою профессор и что-то сердито бормотал про себя.

— Что ж, коллеги... Мы — люди свои. Нам стыдиться нечего. На ошибках, как говорят, учимся. Мне хотелось бы быть одного мнения с вами, но согласиться в вашем диагнозом я никак не могу. Посмотрите хотя бы на изменения температуры: разве так определяется родильная горячка? Простой лекпом скажет, что это — обыкновеннейший тиф — и больше ничего. Как же вы смели тифозную больную да еще после родов стрептококковой сывороткой?! Ведь она, известно всем, пагубно влияет на сердце. Отсюда и ухудшение — как еще не умерла... Стыдно вам, коллеги, стыдно, говорю...

Профессор гневно глянул вокруг — и замолк в изумлении: ему весело усмехался десяток глаз, завздравотделом отвернулся в угол и опустил голову, а вместо перепуганного — радостный голос старшего врача взволнованно звенел:

— Спасибо вам, профессор! Выручили из беды. Мы ведь и сами диагностировали тиф. Страха ради комиссарского согласились на сыворотку.

Роженица этого разговора не слышала. Предчека там также не был. А было это в году не теперешнем.

## АФАРБИТ

Я окончательно решил его убить, этого паскудного короля. Сначала я долго колебался. Мое марксистское мировоззрение говорило, что личность в истории — ничто, а индивидуальный террор — бессмыслица. Но когда заболел тов. Ленин и я вспомнил, что это до некоторой степени следствие эсэровской отравленной пули; когда фашистский наемник Конради в Лозанне убил по-злодейски, сзади, тов. Воровского, когда монархисты в Болгарии своими бандитскими выходками принудили выехать оттуда наше советское посольство — терпение у меня лопнуло.

Надо отомстить... Это во-первых.

А во-вторых, разве личность, выдающаяся личность не является организационным центром, вокруг которого скопляются определенные классовые силы? Конденсатором, откуда идут провода на послушную периферию, послушную, так как в этом конденсаторе воплощен авторитет этой классовой группы? Так, так! Авторитарность еще так сильна, так глубока. Много коммунистов, когда заболел тов. Ленин, растерянно спрашивали: что мы будем делать без него?

Этот королишка, которого я должен непременно убить, вовсе не гений, вовсе не талант. Это серый заурядный человечек. Но вокруг сосредоточиваются наши гетманцы, монархисты всех цветов, оргешки, фашисты, разный контр-революционный сброд. Он — центр их омерзительного плетенья. Порвать его — и все липкие нити рассеются, перепутаются. Придется плести заново.

Так. Я уже решился. Мой поступок будет актом дезорганизации враждебного лагеря. Хотя бы на короткое время. Это — словно на пиве ярлычок „Бавария“ или „Трехгорное“. Я сорву ярлычок — пусть подыскивают иной. Пока ознакомят с ним массы. Ведь массам нужен стяг, маячащий перед колонной. Нет стяга — за кем итти?..

Я забыл сказать, где такие мысли сновали в моей горячей голове.

Полутемная „Bier halle“ неподалеку от королевского дворца. Туда заходила выпить разная челядь. Там я мог ознакомиться с обычаями короля, чтобы найти удобный момент для покушения.

Не раз уже спускался я в этот прокисший погреб. И не один метр пива выцедил с лакеями из королевских покоев... Может быть, вы не знаете, как это пить пиво метрами? Наверное нет, так как метрическая система у нас только недавно. Так вот, видите ли, кельнер несет вам кружку пива, а под ней кружечек гуттаперчевый, сантиметр высотой. Кричите:

— Еще кружку!

Наливает еще, а на стол кладет второй кружечек,  
— Довольно! Счет!

Поглядел:

— Пять кружечков — пять кружек. Что это вы сегодня так мало пьете?

— Мало? К чорту ваши кружки, торгаши мелочные, шарманщики! Давай мне кувшин. Покажу, как наши прадеды-запорожцы когда-то пили.

Ну, и выпил же! Показал себе на беду — и вспоминать противно... А виноват во всем был старичок-фельдшер из королевской амбулатории. Сам бы я не пил, его укачать хотел. Болталив был лысый немец, напившись. Вот и сегодня плетет и плетет:

— Вы думаете, что я так себе — простой фельдшер? Нет, мой дорогой! Мое имя узнает весь мир. Вскоре мой афарбит увенчает мое чело лаврами громкой славы. Уже десять лет я работаю в химической лаборатории королевского университета и мои опыты имеют несомненный успех. Вот видите — он вытащил было из кармана маленькую баночку с какой-то желтоватой жидкостью, а из другого — миниатюрный электрификатор — но сразу снова спрятал: к нам приближался кельнер, неся два больших глиняных сапога с пивом. Ставя на стол, пояснил:

— Тут по десять литров в каждом. Когда-то наши бурши выпивали на пари.

— Ого, — говорю, — это словно во времена Петра Первого на ассамблеях „кубок белого орла“ фигу-



рировал. Ох же и пьяницей этот император-сифилитик был! Эти рейтерские сапоги ему, пожалуй, по ноге были бы. Вишь — громадящие!

— Ну-ка, мой великий изобретатель, за ваш аф-арбит или как там его, хотя я и не знаю, куда он годится.

— О,— подскочил ученый фельдшер: куда он годится? Куда он годится! Молодой человек! Только ваша молодость спасает вас от моего презрения. Читали ли вы когда-либо „Невидимого“ Уэльса, эту чудесную сказку? Ее нет уже, этой сказки. Она стала действительностью, как становятся действительностью все сказки наших прадедов, осуществленные в реальной жизни могучей силой современной науки. Нелепыми игрушками кажутся давешние катапульты перед нынешними броневиками. „Наутилус“ Жюль Верна также детская игрушка перед нашими подводными суднами. „Цеппелины“ заставили покраснеть от стыда примитивные мечтания древних фантастов. А я—я, королевский фельдшер,— выброшу в мусорный ящик жалкую макулатуру Уэльса — его „Невидимого“. Я реализую старые сказки про шапку-невидимку. Она тут, в этой баночке.

И он снова вытащил из кармана свои препараты.

— Слушайте, — шопотом продолжал немец, наклоняясь ко мне,— только вам, мой молодой друг, расскажу я впервые мою великую тайну, заключенную в этих препаратах. Я ее сам еще не до конца разгадал, но уже близко, близко...

Огоньки сумасшествия блестели в его старческих глазах. Очевидно, передо мною маньяк. Что же, может быть и он пригодится...

— Выпьем!

Ох, братьцы мои, товарищи! Вероятно и запорожцы такими сосудами не забавлялись. Даже в глазах завертелось...

А немец рассказывал дальше:

— Если намазать что-либо этой кислотой и сразу пустить электрический ток из этой машинки, получится реакция, преобразующая данное вещество, делающая его прозрачным, как чистое стекло. Вы помните Уэльса? Вы понимаете, почему это так? Вещество после реакции не отражает лучей спектра, пропускает их сквозь себя. Мой афарбит делает вещи невидимыми. И вы спрашиваете, „куда это годится?!“

— О, я уже понимаю,— возразил я,— если бы я знал, что за штука сидит в вашем кармане, мы не брали бы этих рейтерских сапог. Пусть бы давали свои кружечки, а вы бы потом их наафарбитировали. Так дешево можно выпивать.

Немец рассердился, взялся было за шапку и пехотухом наскочил на меня.

— Я работаю не для этих кружечков. Если моя практика до сих пор ограничивалась клизмами для горничных их величеств, то это еще не значит, что я никогда не преступлю этого положения. Эрлих прославился только 606-ым своим препаратом, а далее был еще лучший—914-ый. Я их имею за десять лет

также несколько сот. И я достигну своего, слышите вы, молодой скептик?! Вон Эйнштейн всю физику вверх дном поставил своей теорией. Разрушается убеждение про неизменяемость элементов. А я разрушу весь внешний вид их. Я осуществляю сказки Шехеразады и войду невидимым во дворец Алладина...

Неожиданно мысль сверкнула:

— А вы мне этот револьвер не сделаете невидимым?

Немец взглянул подозрительно:

— Зачем вам невидимый револьвер?

— Да так, ни за чем... Хочу вас проверить. Вот и все.

— Проверить, Фома неверный! Перст в мою рану вложить? А что, если я таки докажу?

— Докажите-ка, докажите!— подзадоривал я, не забывая тем временем глотать из моего сапога.

Сквозь дым и пар в погребке едва можно было различить соседние столики. Но сутолока уже падала. Было поздно, и кельнеры погасили часть лампочек.

Наш уголок казался каким-то кабинетом средневекового алхимика. Поставив себе на колени огромный сапог и уместившись глубоко в дранное кресло, я понемногу сосал кислое пиво. Напротив лысый немец в длинном сюртуке возился с моим револьвером. Машинка свистела, шипела, разбрасывая синеватые искры, немец бранился и снова начинал мазать револьвер желтоватой жидкостью из баночки, что-то бормоча в козлиную бородку.

Мне казалось, что он где-то далеко, а я в какую-то щелочку гляжу на его возню. Мысль сковала мечты. В самом деле, если бы мне такую „шапку-невидимку“. Ого-го! И Петлюру укоцал бы со всеми его присными, и всех кандидатов бывших, настоящих и будущих на царей и гетманов, и фашистским штабам страху нагнал бы, и жандармам покоя не дал... Эх, здорово было бы! Только врет ведь старый выдумщик, дырявая клизма немецкая...

Лениво мысли перекатывались. Лениво пиво пилось. Лениво глаза моргали.

Вдруг — что это? Неужели револьвера нет? Не ослеп ли я?

Да нет. Я вижу. Вот немецкий афарбит под самым носом у меня торчит. Под самым носом. Как-то истомно-сладко мне стало. Ого-го! Так это мне пригодится. Это пригодится...

Пользуясь тем, что новоявленный алхимик между своими манипуляциями не забывал прикладываться и уже со дна вылебывал, задравши сапог почти к потолку — я в тот момент, когда он погрузил туда свою лысую голову, мигом схватил баночку и машинку и махнул через задние двери „биргалки“.

Вихрем примчал я в свою мансарду где-то в глухом квартале. Ага! Пусть найдет. Да хоть бы и нашел — я уже буду невидим.

Три минуты — и я наг. И буду нагим ходить. Это уэльсовский дурак должен был забинтовывать себе голову, натягивать перчатки, нацеплять на нос черные очки. К чорту все это! Мешает.

Ну, лишь бы жидкости хватило. На ватку — и осторожно мажусь. Теперь электрификатор. Фу, как щекочет! Ничего, терпи, парень: если не атаманом, так известным террористом будешь. Невидимая кара! Надо будет везде записки оставлять:

„Я, великий красный мститель, невидимой своей рукой покарал этого контр-революционера. Так будет со всеми, кто осмелится поднять кощунственную руку на красное знамя. Я везде и нигде. Нет спасения от моей руки. Берегитесь невидимой кары!“

Они сначала будут смеяться, будут думать, что это фокусы какого-то сумасшедшего анархиста. Но ряд безумно смелых покушений в неожиданные моменты и в неожиданных местах убедит их, что дело не так просто. Будут искать объяснения и не найдут его. А тут везде эти зловещие записки...

Сверхъестественный, мистический ужас охватит их. Он парализует их разум, дезорганизует их ряды, посеет внутреннюю вражду, недоверие. Каждый замкнется в себе и будет избегать своих единомышленников, так как не будет знать, где застанет его невидимая рука красного мстителя.

Ого-го, старый немец, я таки знаю, куда годится твое хитрое изобретение!

А машинка делает свое дело. Мои руки и ноги превращаются в туманные тени. Наклонившись, сквозь свой живот я видел, что было сзади меня. Я — прозрачен. Я — невидим.

Ах, чортова бедность! Почему у меня нет большого зеркала? Разве в это засиженное мухами стеклышко себя рассмотришь?

Ну, все равно! Проверю на улице. Заметят ли? Вот дурак: чуть не нацепил на невидимую голову шляпу. Ты бы еще калоши взял!

Ну, айда!

Голый человек всегда чувствует себя каким-то легким, и мне казалось, что я бесплотный дух. Хотелось прыгать, танцевать, кричать во весь голос. Ну и позабавился я, не сглазить бы!

Та толстозадая торговка на углу издавна вызывала во мне безграничный гнев. Как у поэта Юлиана Шпола в сборничке „Верхом“:

Рыли мы, рыли...  
Вымотали все жилы,  
А мордатая торговка  
Замызгала в сало  
Мечтательный порыв:  
Пришла и села...

Так, так, товарищи! Пока там на углу будет сидеть эта баба-торговка—не поверю, что наступает пора социализма. Про это уже писал и еще буду писать. Ишь какие глазки свиные на свекловице-роже!

Ох, и хватил же я по этой роже! Перевернулась и юбками закрылась, блеснув на солнце задом. Заверещала, как свинья, захрипела, как тысяча граммофонов испорченных.

Стою и смеюсь: не видит. Ага, мерзавка! Так вот же тебе еще, а вот еще, и еще еще, и еще еще... Довольно. Отвел душу.

Гм... Геройский поступок. Побил торговку революционер. Ловко! Может быть, думаешь, от этого социальные взаимоотношения изменятся, скорее коммунизм настанет? Та-ак!.. Мое покушение, кажется, не лучшим пахнет. Эх, снова колебаться! Вали дальше, отводи душу...

Вскочил в автомобиль: порожняком куда-то ехал. Не видит шофер. Ну, вези. К театру? Ладно. Посмотрим. Что — „Фауст“? Отлично. Там тоже алхимия. Только профессор Штейнах теперь Фаустов иным способом делает и душ не покупает.

Иду проходом в партере. Сбросил шляпку у какой-то дородной барыни-нэпманки. Вытащил из жилета у кого-то часы и бросил наземь. Сорвал у генерала эполеты. Дернул за бороду какого-то толстяка. Кулаком двинул в нос модника-щеголя. Бросил окурки в декольте раскрашенной даме. Ох-хо-хо! Везде скандал, ссоры, крик. Один на другого набрасываются.

Иду прямо на сцену. Пусть во все бинокли глядят. Ни черта не увидят! А самого так и щекочет, так и подмывает еще что-нибудь учинить.

Поет:

Позвольте предложить,  
Красавица, вам руку...

— Вот и не позволю, дурак намазанный! И вам там не позволю спокойно глаза таращить, болваны

партерные! Неужели до сих пор, в XX столетии, эта допотопная опера дает вам наслаждение? Неужели не найдете иного искусства, иных форм, достойных эмоциональности нашей переходной эпохи? Черви вы могильные и могильный вкус ваш с этими дуэтами любовными и ариями предсмертными. Вампуки на вас мало, чурбаны-опероманы!

Бранился бы и еще, сев на суфлерскую будку,— но опустили занавес и забегали по сцене, ища, кто тут сошел с ума.

Тогда опомнился: ну, не дурак ли? Ведь так можно весь план провалить. Будут знать, что между ними есть какое-то невидимое существо и станут осторожнее. Довольно ребячеств! Проверка сделана.

Пошел.

Вот королевский дворец. У ворот часовой. Приближаюсь и чихаю. Оглянулся усатый. Не видит. В калитку и к самому дворцу. Длинные коридоры. Два гвардейца стоят возле каких-то дверей. В киверах, словно с наполеоновской гравюры минувшего столетия. Постучал в двери.

— Кто-то хочет войти.

Открыли, а я — туда. Вижу: зала, длинный стол, покрытый зеленым. Вокруг в креслах с резными спинками лысые мастодонты сидят. На груди разноцветные ленты, кресты, ордена. Совещаются. На председательском месте сам король, которого мне убить надо.

Ну, задавить этого клопа еще есть время. Не уйдет никуда. Пока послушаю, какие у них тут планы.



Сел в уголок на диване, стоявшем под стеной как-раз против „его величества“, самодурством великого.

А он так своим советникам говорит:

— Московский Интернационал разослал своих агентов повсюду. Они следят за каждым нашим шагом. Мы не можем быть уверены, что и тут, в этой зале нет их шпиона, что он не сидит где-нибудь между нами...

Ох, беда! Невольно глаза всех пробежали все стулья и остановились на мне.

— Чортов немец обманул! Афарбит никуда не годится. Солгал буржуазный прихвостень и заманил в их лапы...

Я посмотрел вниз. Мои руки, чувствую, лежат на коленях. Сквозь них вижу позолоченные гвоздики на кресле и морщины на его кожаном сиденьи. Нет, фельдшерское зелье еще действует. Я невидим. Но почему же все ко мне так присматриваются?

Передвинулся в другой угол. Как будто успокоились.

Король продолжает:

— Их отдельные агенты нам не страшны. Пусть делают, что хотят. Страшно, когда восстают массы. А массы восстают не от агитации отдельных людей. Их агитирует жизнь. Мы должны так поступать, чтобы голос этой агитации был не слышен за другими голосами. В этом мудрость руководителей государства. Кто-то из коммунистов сказал, что класс обмануть нельзя. Но он сам может обмануть

себя. И вот я хочу иметь провокаторов среди тех, кто угрожает трону. Мы купим тех, кто прикидывается приятелями народа. Пусть лгут пролетариям, пусть показывают не те двери. И пусть сидят тут, между нами, как наши союзники. На этом диване, возле нашего стола, место представителям социалистов. Дать им их „демократическое“ „общее и равное“...

Снова все облезлые головы повернулись ко мне, и в глазах у них промелькнуло удивление. Кой-кто даже приподнялся, чтобы лучше всмотреться. Привидением, видимо, казался им я.

— Вот тебе и наафарбитировался! Что же делать? Среди этих генералов я гол-гоলেখонек. Никакого оружия. Это тебе не торговка и не театр...

Потихоньку вдоль стены стал передвигаться к дверям, оглядываясь на лысых чучел. А они смотрели мне в глаза не то в ужасе, не то в изумлении. Некоторые вынимали платки и протирали очки. Толстый фельдмаршал поднялся и пошел прямо ко мне, придерживая шпагу. Оловянные глаза выпучил, глядит в мои.

— Эге-ге! Это я снова превращаюсь в туманную тень—внезапно сообразил я и опрометью прыгнул к дверям, опрокинул здорового гвардейца и загрохотал по лестнице. Вдогонку выстрел. Ерунда! Минута—и я на улице. Еще немного—и дома.

Растянулся на постели, еле перевожу дух и дышаю (зеркальце в руке).

— Что за несчастье? Вот я смотрю—и меня нет. А они заметили. Неясно, но заметили. Глаза у них, что ли, иные? Глаза?

Внезапно мысль:

— Постой, дорогой мой! А как же ты их видишь? Значит, у тебя глаза не прозрачны? Значит, в них отражаются изображения? Значит, твои глаза видимы. Они видели мои зрачки где-то в пространстве. А я, идиот зеленый, поверил сказке Уэльса! Эх, мудродурень вместе с немцем полоумным!

Всердцах хлопнул себя по лбу и... проснулся.

Передо мной стоял кельнер и говорил:

— Время пивную закрывать. Позвольте получить за пиво.

— А куда же мой товарищ делся?

— Какой? Тот лгун невидимый, который с афарбитом в кармане носится? Он уж всем гостям тут надоед, только вы его, очевидно, не знали. Давно уж выскользнул, как ящерица.

— Чортов фельдшер!—выругался я.

— Какой там фельдшер,—возразил кельнер: вы лучше пощупайте, все ли у вас в карманах. Ведь это агент его величества...

Верно: кроме револьвера, недоставало еще моих документов — и липовых и настоящих.

Вы думаете, что я выхлебал целый сапог? Ошибаетесь. Он был почти полон.

Не путайте афарбит с морфием, иначе будете, как и я тогда, арестованы.

## ТАМБОВЦЫ

### I

Именно в нашем полку и был тот командир, про которого говорят — когда прислал Поарм политкома — вышел на митинге:

— И поставлю тебе, товарищ, два тезиса:

первый: какой чортовой матери ты к нам приехал?

второй: поезжай назад к чортовой матери!

А сам комполка — как буйвол, голова под потолок, кулаком табуретку в щепки трошил...

Хорошо — политком человек бывалый. Он нам:

— Задам и вам, товарищи, обратно два тезиса:

первый: какого чорта вы от Махна к Красной Армии пристали?

второй: идите к чорту назад к Махну и Деникину!

Мы тогда:

— Ну нет, не согласны! Деникин у наших отцов всех лошадей забрал. Говорили отцы: без лошадей назад и не возвращайтесь.

— То-то и есть,— политком нам,— все у белых отобрать надо, а самих на капусту покрошить. Знаете, что их волчья дивизия делает?

Да как начал нам — мы и уши развесили. Комполка говорит:

— Ладно, живи, разговаривай, только не в свое дело не лезь. Я тут командир, помни!

Дали политкому коня ретивого, норовистого. Под седло репейник подложили. Ничего — усидел. Дали саблю — свинью на ходу зарубил. Толстую. Ну — свой брат, оставайся.

А полк у нас был дружный. Все из одной волости, Антоновской. Знаете: Екатеринославской губернии, что теперь Днепропетровским округом прозывается. Выйдешь в степь — гладко кругом, как голова татарская, только пшеница волнуется да подсолнухи ярко-желтыми пятнами. Вплоть до горизонта смотри — ничего не увидишь, ни человека, ни дерева. А на самом деле там людей, как семечек в тыкве. Притаились села многотысячные в глубоких долинах степных речушек зелено-белыми бусами. Только маковки церквей кой-где выглядывают.

Мужики богатющие были в нашей стороне. У каждого тройка лошадей, а то и пять, — и все ладных, хоть в какой экономии ищи в других местах. По коням и парни, как жеребцы заводские, крутогрудые да высокие, вестимо — степовики. Как пошли мы с Махном — настоящая Сечь Запорожская: пей, гуляй, власти никакой не признавай. Но изменил нам Махно — передался белым, а те разрушили

наши села, обесчестили наших девок, отняли лошадей у наших отцов. Хуже всего — лошади... Тогда и мы офицерам изменили, красным передались и поклялись отомстить. Какие мы ни есть кулацкие сынки, а видно стало, что с господами-офицерами нам не по дороге.

Новый политком еще круче нас подкрутил.

— Если хотите, — говорит, — своих девок для барчуков за ноги держать — идите, на чаек получите.

— Ну, не дождутся! — и остались мы в Красной армии.

## II

Недолго мы одни ходили. Как-то утром видим — гонят к нам толпу людей. Кто бы мог быть?

— Антоновцы, — политком говорит, — родственники ваши из России. Как у нас Махно, так там под Тамбовом атаман Антонов кулацкие восстания затеял.

Сбежались все — глаза плялим. Надо быть, такие герои, как в песне знакомой про Стеньку Разина — ради товарищей пустил на дно любовницу, а уж тогдашним буржуйам-купцам от него угощения было! — Еще затмят нашу славу...

Ну, нет! С первого взгляда смех разобрал. Со второго — хохот настал. Стоит мужичье тамбовское бородатое, приземистое, носы башмаком, губы вислые. У каждого мешок за плечами ниже зада свисает, а на ногах, братцы мои... лапти. Лапти, понимаете, которых мы никогда не видели, разве

что у богомольцев дальних. Сторона ведь наша сапожная, нищие — и те в сапогах, хоть бы и рваных. Но не от этого еще смех:

— Как же это вы, родственнички наши гусоногие, на коней сядете? Не из репейника ли вам шпоры приделать, конница липовая?

Как начали глумиться, едва политком спас:

— Да отстаньте вы! Не конница ведь это, как вы, бузотеры! Крестьяне это тамбовские, дезертиры из Антоновского района.

— Де-зер-ти-ры! Так из них такие вояки, как из дохлой вороны шуба. На кой чорт они нам нужны? Не задали ли бы вы им, товарищ политком, два тезиса?

Тут уже комполка вступился:

— Стой, ребята, не шуми! Пусть идут в наш обоз за кучеров. Кой-кому и винтовки дадим — охраной будут. У нас, таким образом, боевых сабель больше станет. Ладно?

— Ладно, ладно! Воля командира, как судьба определила. Пусть лезут на телеги, чтоб лаптей не истоптать, онуч в грязи не измарать.

Помирились мы с тамбовцами, только запретили и намекать, что антоновцами — одним именем — называемся. Да и какие из них, на самом деле, храбрецы, из конопельников? Как станем мы где-либо на ночлег — все конюшни обыщем, где добрых коней обменять на усталых, искалеченных. В ригах, сараях достаем брочки-тачанки для пулеметов. По чердакам, погребам, за стрехами отыскиваем оружие.

Мобилизуем гожих парней. Девоч целуем... А наши тамбовцы заберутся на огороды, набьют котелки картошкой и знай уплетают, как брюхо не треснет. Чего доброго и треснуло бы, так каждый еще котелка два чаю нагреет, а если нет чая (из листьев садовых его терли), так просто горячей воды в себя хлещут да хлещут. Только пар идет да пот фасолинами на лбу.

Такие были тамбовцы. Хотелось им воевать, как щуке берегом лазить — хоть с белыми, хоть с красными. Известно — дезертиры. Они бы и от нас удрали, да сторона чужая, незнакомая. Одна мысль была — ближе к Тамбову родному быть, так как, правду сказать, мы от Деникина отступали-таки скоренько. Вертелся наш отряд, как волчок, под офицерским кнутом, и все дальше и дальше от Екатеринослава, все на далекий север. Что же: сердилось люто тогда крестьянство на советскую власть за продрозверстку, — не знало, какими нагайками, какой шомполизацией за социализацию попотчует их офицерство.

Только раз посчастливилось нам. Так было дело.

### III

Держали нас, как всегда конницу при отступлении, сзади, чтобы врага тревожить, лучше следить и быстрее уходить. Да замешкались мы как-то — наша пехтура села в эшелоны и сразу перекочевала километров на полтора назад, на новую линию обо-



роны. Может быть забыли про нас, может — с перепугу бросились опрометью, а может и нарочно бросили, чтобы заслон от противника был. Всяко в те тревожные годы бывало.

Так или иначе — очутились мы во вражеском кольце на другой день. Окружили нас деникинцы со всех сторон. Но старых практикованных партизанов этим не удивишь. Во фронтовую войну страшно, если где-нибудь противник фланг обошел. Партизаны же привыкли быть в тылу у противника, привыкли передвигаться на вражеской территории без связи с кем-либо, по собственной воле, хитрости и опытности.

Не струсил мы и на этот раз. Одни — ну и одни. Только хвост этот тамбовский мешает. Неповоротливый он, неуклюжий на нашу беду. Мы — на коней и несколько десятков километров в сутки. А телеги с тамбовцами скрипят-рипят, инда душу на куски рвет, словно тупой косой бреешься. И бросить жалко да и нельзя: на телегах снаряды, всякое имущество военное и невоенное (говорил уже вам, что хоть наши отцы и заправские собственники были, но мы эту собственность не очень-то признавали — чужую, конечно, не свою). Там, в обозе, ехали также раненые и больные, а кой-кто с собой и бабу свою возил. Скажи теперь такое красарму молодому — не поверит, но уж пусть у кого-нибудь старшего расспросит.

Множество тогда по Украине таких отрядов ходило, словно маленьких орд татарских — и красные,

и белые, и зеленые, и черные и кто знает каких еще цветов — просто разбойничьи. Смутные, тревожные были годы.

Стали и мы маленькой хоть ордой, хоть бандой среди окружающего белого моря. Плаваем...

Зайдем в какое-нибудь селцо после тяжелого ночного похода; поставим орудия на центральной площади дулами во все стороны; по улицам, куда дальше путь держать будем, обозы змеятся; тамбовцев пошлем лошадям и людям корма добывать; а сами — за село, на подступы, со скорострелами. Лежим под копнами (дело как-раз в страду происходило) и отдыхаем вокруг села кольцом, оцетиненными штыками.

Только солнце покажется — гляди, там и сям разведка противника. В полдень хорошо нас нащупают, а под вечер и совсем окружат село. Ожидай ночью или под утро готовься, что будут колотить орудиями со всех сторон.

Но не даром у нас комполка сорви-голова и политком отважный, к тому же хитрющие оба на удивление. Еще днем, бывало, сидят над картами, раздумывают, крестьян-проводников ищут для дальнейшего пути.

Туман вечерний упадет на село и поля — ползут потихоньку на околицу черные пушки, топают тачанки с пулеметами, подтягиваются со всех сторон конные — да как плюхнут все вместе куда-то по темной полевой дороге в таком направлении, что и сами мы, не то что враг, иногда не догадывались.

Бывало, шли снова в ту сторону, откуда в село прибыли.

Полчаса на все это дело тратили, так как ночного орудийного огня никто не любит, да и пулеметы не игрушка — знай прячься. Как сорвется внезапно из десятков жерл огонь, заохает, затакает — бегут белые с того места, как мыши. Рвали вражеское кольцо, а в эту дырку следом за пушками и пулеметами катились потоком телеги с тамбовцами.

На других околицах наши понемногу из винтовок пощелкивают, чтобы привлечь врага и не дать возможности послать помощь на место прорыва. Гляди — проход уже и свободный. Тогда — на коней и вскачь вдогонку. Ищи теперь, деникинцы, где остановимся!

Тайными дорожками переходили на какие-то иные пути, поворачивали влево, вправо, еще раз где-то лаяли сердито орудия и трещали пулеметы — и темной цепью топали мы всю ночь к другому селу. Там снова пушки — на площадь, пулеметы — в копны, сами — на отдых, тамбовцев — за харчами.

Так две недели с ежедневными или, собственно, еженощными боями, с длиннейшими переходами. Все хоть боком — на север, хоть стороною — на северо-восток. Радуются тамбовцы, печалимся мы.

Раз, говорю, только и повеселились.

#### IV

Проходили ночью какое-то барское поместье. Белыми мраморными колоннами дом приукрашен.

В саду расставлены фигуры голых баб,— только рукою прикрываются. Ловкие бабы, только зачем их в кустах держать? Богач-барин жил, мог выдумывать. А богатство высосал из сахарного завода. Тут же на краю села был. Туда и мы залезли за сладким и набрали его, сколько подвезти могли. Комполка не очень хотел, но политком уперся:

— Будем платить, говорит, хоть фунтов по пять мужикам, которых с собою с подводами гоняем. Не будут так уж бранить красных. (Тогда большой недостаток был сахара, соли и прочего такого).

А тамбовцы-чаелюбы набрали сахара, даже мешки не держат, еще и по карманам напихивают, а кой-кто и в ведерке несет.

— Смотрите,—говорим,—заждит, влипнете, как мухи в мед.

Смеются „родственнички“:

— А чаек? Есть теперь чем побаловаться.

Ну и побаловались на свою голову... Но погодите, чтоб не забыть еще одной находки. Обрадовала она нас, как малых детей расписная игрушка, да и в самом деле расписная, цветистая была.

Как пошли мы барский дом обыскивать, нашли целые тюки башлыков красных, красной, блестящей материей подбитых. Говорили тамошние мужики, что когда-то помещик этот черкесов навез, охранял ими поместье и держал крестьян в страхе и трепете. Для них тогда и башлыки выписал, но пришлось вместе с гетманом Скоропадским удирать и добро свое покидать.

Поблагодарили мы барина за догадливость и так нарядили свою первую сотню, что, верно, прадеды-запорожцы от зависти перевернулись в гробах. Как несется сотня дорогою, у каждого за плечами реют красные крылья, как у невиданной птицы. Красота! Девки млеют, заглядываются. Ходят наши казаки индюками, груди выпятили—смотри, мол, да удивляйся, какие мы!

Не захотели в тот день и на копны итти.

— Пусть хоть раз тамбовцы полежат. Растрясли, наверно, животы на телегах. Время и нам побаловаться. Довольно стеречь картошников. Пусть нас постерегут.

В предыдущую ночь мы через две речки болотистые перешли и сожгли мосты за собой. Не сразу теперь догонит противник.

Согласились командир с политкомом:

— Гуляйте, ребята, но в полночь — все в поход вот по этой дороге. Время к своим пробиваться.

Не солгали казаки. В полночь тронулся тихо полк из села — на этот раз без врага обошлось, не успел подойти. Потянулась колонна широкой дорогой на соединение с армией, где уж давно нас записали на панихиды.

Едем, песни поем, рады, что выскочили из вражеского кольца, ничего своего не потерявши, еще и разбогатевши сахаром, башлыками и другим барахлом. И мужики-подводчики подпевают, зная, что получат сладкую плату и в бой со своими лоша-

денками не попадут, возвратятся домой спокойно. Не войсковая колонна, а свадебный поезд.

Ночка темная, парная, густым хлебным духом насыщенная. Высятся по обеим сторонам копны стройными шеренгами. Подлетит иногда к ним казак громадной летучей мышью — крылья башлыка за плечами развеваются. Ищет овсяного снопа коню полакомиться. Заржет конь, обзовется другой.

Двигается колонна все дальше и дальше, забывая недавние приключения, мечтая про скорую встречу со своими. Так возвращаются из далекого опасного плавания моряки и издалека еще всматриваются в родной берег, издалека обдумывают, что будут делать, сойдя на него...

Впереди командир с политкомом, задумавшись. Какую новую задачу зададут в штабarme? Неужели таки придется отдавать Украину Деникину? Неужели доведем тамбовцев к их родине, где уже над нами, хохлами, будут смеяться и издеваться, как мы тут над ними?

А что же они молчат? Почему в хоре разных песен не слышно русской „Березы“, которую так любят наши тамбовцы? Где-то, наверно, сзади плетутся. Разве угонишься за степными конями, которые за два часа километров тридцать, вероятно, уехали.

Залаяли собаки, запахло дымом и теплым навозом. Неподалеку большое село. Довольно. Тут — дневка. На околице встречают заранее высланные квартирьеры и разводят свои части на ночлег.

Командира и политкома ведут к попу—где же быть штабу, как не в лучшем доме, да еще таком, который все знают? Это уже традиция: куда бы ни пришли — штаб в поповском подворье. Не нужно никого про это и извещать.

В эту ночь по избам и сараям уже храпели, даже разувшись. На улицах одинокие часовые где-нибудь под забором, на околицах небольшие дозоры. С каких пор такого покоя не знали.

Только в поповском доме командир с политкомом не спят, волнуются:

— И куда они делись? Почему до сих пор нету? Неужели денякинцам передались либо снова дезертировали?

Так и остались мы тогда опять без тамбовцев. Исчезли, как ведро в колодезе — и не видно, и не слышно, только знаем где. Но не искать же их в волчьей западне — пошли мы дальше и вскоре добрались до своих.

Ох, и радости было, приветствий! Словно мертвецы из гроба встали — так нас встретили.

— Еще и в башлыки красные нарядились—вишь щеголи какие, не сглазить бы!

Но не время баловаться. Снова бои, переходы— и все на северо-восток. Вот мы уже и неподалеку от Чернигова, к границам Украины подходим.

— Придется-таки на родине наших беглецов побывать. Где-то они теперь? Так и не слышно, что с ними тогда у сахарного завода случилось.

Но узнали, услышали. Так это было.

## V

Отступали по шоссе Черниговскому. Сошлась на нем чуть ли не вся левобережная группа красного войска. По нем шла также эвакуация Киева. Десятки тысяч народа теснились тут.

Знали это деникинские генералы и старались перерезать шоссе, замкнуть нам дорогу на север.

Получаем однажды приказ:

„Пехота противника сосредоточивается в селе неподалеку от линии отступления. Надо выбить и отогнать прочь“.

Ладно. Выступаем. Вот уже видно ветряные мельницы перед селом на холме. Рассыпался наш полк лавою, хотим конной атакой взять село. Участок против мельниц попадает как-раз красной щеголеватой сотне. Впереди политком на своем ретивом коне отвагу показывает. Вырвался конь вперед, уж и не рад политком — видит, вон там между мельницами вражеская цепь лежит. Да командирского коня разве удержишь, если он не привык в ряду ходить?

Летит сотня за политкомом, только крылья красные по ветру реют языками огненными...

Ожидает напряженно политком: вот сейчас вспыхнет вражеская цепь выстрелами, обожжет его горячим и придет конец борьбе за свободу. Ясно видны уже серые фигуры на земле, видно вон командира, прячущегося за углом мельницы. Вот он подает сигнал, щелкает револьвер...



Что это? Цепь срывается на ноги, бежит навстречу конной лаве. Неужели в штыки? Слыхали ли вы когда-либо про такую стычку? Эй, будет саблям пожива!

Ближе, еще ближе. Политком намеревается ударить какого-то рыжего бородача с раскрытым ртом. Что-то кричит—не услышишь на скаку. Едва успел политком коня в сторону рвануть перед самым тамбовцем, в последнюю минуту узнав его. Чуть было не изрубил, как лозу.

Едва и сотня остановилась, удивленная.

Подбежали тамбовцы, рассказывают:

— Узнали полк по красным башлыкам, а то беда была бы. Замешкались мы тогда возле сахарного завода, хотели еще помещичьи погреба обыскать. Забрали нас деникинцы, как цыплят ночью. Командиров—в штаб Духонина, краснармам обыкновенным—обыкновенная и порция: по двадцать пять шомполов. Побили, а потом своих командиров поставили и таскали с собой до сих пор,—мобилизованные, мол. Если бы были в своей стороне—разбежались бы, а тут—куда денешься? Вот и встретили своих, спасибо красным башлыкам!

Разменяли мы офицеров деникинских там же возле мельниц и пошли дальше снова с тамбовцами.

## ДЖОН-ВИЛЛЬЯМ ПЕТЕРСОН

Редактор „Планеты“, иллюстрированного журнала с претензией на большой тираж, лежал на диване и нервно дрыгал ногой. Окурки отравляли воздух отвратительным смрадом. Напротив, над большим столом с кучами исписанной бумаги, склонился секретарь.

— Истязай меня дальше, Ваньчик! Вот бездарности, вот бумагомаратели! Жизнь кипит, как воздух перед пропеллером, мчится вперед, как рулон в ротационке, а у них—гниль на пруду, стекло засиженное мухами, кусок ржавой жести. Эх, нет жалящей критики, острой критики! Неужели не выберем из этого барахла ни одной интересной новеллы? Ну, читай дальше, порти мне нервы.

— Вот какого-то ...ова на пол-листа.

— Ладно! Валяй во-всю.

— „Подслеповатые избы низко напаяли на окна свои позеленевшие шапки. Ивы грустно склонились над гладким стеклом старого, заросшего пруда. Матрена...“

— Вот! Не говорил ли я? Довольно,—в корзину! Эпоха индустриализации, а он про грустные ивы,

идиот! А героиня, слышите—Ма-тре-на. Что-то рас-трепанное, грубое, как брюхо беременной бабы, как свиная требуха...

— Да не бранитесь же так! Вот другое — „На торный путь“. Читать? Слушайте!

— „Рыжий Пахом давно уж алчными взорами пожирал стройные, пружинистые ноги Груни... Бедная батрачка...“

— Достаточно! Не могу! Ведь ясно, что рыжий кулак ее непременно изнасилует, а она пойдет в комсомол, а то и в партию. Лучшего не придумают. Смотри конец.

„...Электрическое сияние из широко раскрытых окон клуба бросало снопы ослепительных лучей на путь, ведущий в далекий город. Этим путем шли, тесно прижавшись, Груня и Вася...“

— Вот видишь — прямо в губком... Перелистывай еще.

— А вот что-то не сельское, вероятно, так как — „Гранитные Шаги“.

— Ну-ну, может быть тут посчастливится.

— „Седыми космами клубится над городом туман. По ослизлым панелям одиноко звучат шаги запоздалых прохожих. Темной массой на углу громадятся контуры железного котла. Там что-то шевелилось...“

— Стоп! Опять беспризорные! Смотри конец.

— Вот конец:

„ ... Лена быстрыми шагами вышла из фабричных ворот. Внезапно ее взгляд упал на какую-то неуклюжую массу. На углу стоял старый знакомый — железный котел. Там закалилась она для новой жизни. Вдохнула:

— Нет, моему ребенку не придется блуждать в тумане. Моя дочурка в школе..“

— А может быть — в вузе? Динамический писатель, нечего сказать! Нет, пропадет „Планета“, пропадет, как четырнадцать пунктов Вильсона...

— Постойте-ка! Вот что-то вильсоновское, или нет — петерсоновское. Перевод с английского. Примерно, лист будет.

— О, даешь Европу! С этого бы и начал, а то... Редактор даже немного поднялся, а секретарь с довольной усмешкой начал:

„Мери не могла удержаться от нестерпимой дрожи. Почему, в самом деле, Ричард не соблазнил ее проникнуть куда-либо в теплый центр Лондона, в густые чащи Гайд-Парка? Тут, в этой вонючей гавани, так холодно. Седые космы тумана густой пеленой стелятся над стеклянной поверхностью Темзы и окутывают темные строения набережной. Из широко раскрытых окон веселых баров моргают желтые огоньки подслеповатых фонарей. В их отблеске едва виднеются громадные контуры океанских кораблей.

Ах, Мери так мечтала побывать когда-либо на этих железных чудовищах! Они с Ричардом раз проскользнули ящерицами на „Атлантик“, но лоцман во-время заметил и отправил назад по ступенчатому трапу. Но она добьется своего! В ее маленьком худом тельце под грязными отрепьями таится гордый британский дух. Ее отец погиб в колониях, прокладывая путь цивилизации. Он был отважным моряком. Ее мать, креолка-танцовщица. В далекой Гватемале встретил ее отец Мери и привез в туманный Альбион. Не перенесла пылая южная натура креолки северных туманов и быстро сгорела в чахотке. Мери очутилась на скользких панелях набережной...“

Редактор причмокнул от удовольствия:

— Вот сразу видно опытную руку! Немного длинноватое вступление, но уже есть завязка, намечены типы героев, читатель ждет их борьбы за свои мечты. Это вам не наши азиатские матрениады и никитиады. А главное — незнакомый фон захватывает. Молодец, как его там — Петерсон, что ли? Эх, оторваны мы от европейской жизни... Ну, Ваньчик, возьми из середины, так как уже поздно. Потом сам отредактируешь, если остановимся на этом, как оно называется?

— „Сквозь морской туман“.

— Ага, не речной и не болотный и не „Торный путь“... Ну, гони из середины.

## Глава четвертая

„Мери уже два года томилась в этой пустынной ферме Нью-Гемпстон, плача иногда в уголку, мечтая про свое любимое, теперь такое далекое, море.

Ах, Ричард! Как мог он быть таким жестоким? Как мог он оставить ее на произвол судьбы, в руках у этого толстого, омерзительного Конрада? Когда он алчным взором пожирает ее стройные ноги, ее полусформировавшуюся, упругую, как пружина, девичью фигуру, ей кажется, что противные красные руки фермера, поросшие густыми рыжими волосами, уже обнимают ее. Но не даром она прячет за корсажем тонкий стальной стилет — единственное, что осталось на память от креолки-матери. О! Она сможет защитить себя! В крайнем случае батрак Джемс поможет. Не даром он глубоко вздыхает и стыдливо краснеет, когда она проходит мимо него. Бедный! Он предполагает, что Мери может сжалиться над такой слюнявой любовью...“

— Будет! Прекрасно! Интрига усложняется, вводятся новые герои, намечается напряженная борьба интересов. „Планета“ спасена! Чтобы быть окончательно уверенным и не терять времени — последний абзац — и конец.

Секретарь перевернул страницы.

— Вот финал:

„Глуховорчала грандиозная машина „Атлантика“, могучими движениями разрезая пенящиеся океанские волны. На бугшприте сиял широко раскрытым глазом электрический прожектор, бросая снопы ослепительных лучей в неведомую даль, где ожидало Мери и Ричарда счастливое будущее. Нежным движением Мери прижала к груди ребенка и шепнула растроганным, взволнованным голосом:

— Спи, малютка, тебе не придется блуждать в тумане!“

### К о н е ц

— Отлично! В очередной номер. Больше бы таких... Ваньчик, как там автор называется, не запомню?

— Джон-Вильям Петерсон, сэр редактор!

— А кто перевел, мистер секретарь?

— Никто, милорд...

— Как?!

— Так... Автор этого рассказа — я, Иван Васильевич Петров. Пожалуйста гонорар!

## НА ТРОТУАРЕ

### I

До колена видел людей Михаил — и то, если близко придвинуться к окну и высоко поднять голову. Издали же, с низкой табуретки, где он всегда сидел, ковыряясь в своей работе, видна была лишь обувь.

Рано на рассвете гулко топали на пустом тротуаре тяжелые порыжевшие сапоги, и метла дворника поднимала серую въедливую пыль. К окну прилипали грязные полосы этой пыли, жесткая метла царапала стекла и расписывала их причудливыми узорами. Вихрем мчались мимо примятые, истоптанные окурки, обожженные спички, кусочки изорванной бумаги. Иногда к ним цеплялась чья-то желто-зеленая мокрота и склеивала в комочек всякую дрянь.

Тогда же твердым широким шагом меряли тротуар один за другим простые тяжелые сапоги. Из грубой кожи, широконосые, емкие, чтоб ногу в портянке не жало.

Над полусонным городом призывно ревели гудки, раз, другой, где-то вдали замирала поступь ра-



бочих — и Михаил садился на свою табуретку под подвальным окошком.

Мимо него быстро частили по утренней прохладе неуклюжие башмаки прислуги — кухарок, чтобы через час медленно возвращаться, тяжело ступая под ношей закуленного. Среди этих низких, плоских башмаков Михаил иногда замечал высокий изогнутый каблук, и лицо его хмурилось.

— Не по ноге, девушка, купила, не по ноге... Не той дорожкой идешь...

Но прояснялось оно, когда веселой толпой, опережая друг друга, пронеслись вызывающе детские ножки. Всяких цветов, всяких фасонов, размеров. Вон рваные башмаки, пуговики болтаются, рядом с чистенькими туфельками, бантик шелковый бабочкой. А там шнурованные элегантные полусапожки шагают вместе с огромными сапожищами — носы кверху, отцовские, не по ноге.

— Так, так, детки, будьте товарищами, — сентиментально шепчет Михаил.

Он одинок и, как все одинокие, привык сам с собой разговаривать, хоть и не стар еще.

Побежали резвые ножки школьников. Зашаркала обувь служащих. Почти вся одного фасона, купленная в одних магазинах в кредит да на выплату. На низких искривленных каблуках, с растоптанным плоским передком, тонкой протертой подошвой. Между нею дешевая разнокалиберная женская обувь. Изредка попадаются кокетливые высокие полусапожки, лакированные туфельки, серая замшевая шкурка.

Поспешно прошли служащие. Пауза. Михаила долго ничто не отвлекает, и он весь погружается в работу, пока что-то не затеняет окна.

Вот опять эта беленькая лохматая собачонка задрала лапку! Щеголеватые ботинки ее собственницы стыдливо останавливаются. Невидимая рука нервно дергает цепочку.

— Повылазили уже собачки с бездельницами на прогулку,— сердится Михаил и прибавляет:— кто кого водит?

Немного спустя тротуар снова оживляется пробегом школьнических стаек, потом утомленно шаркают домой служащие — и Михаил знает, что пора обедать.

После обеда на тротуаре никакой системы. Рядом с сапогами со звонкими шпорами чуть не вертикально ступают дамские желтые ботинки. За ними шлепают чьи-то старческие башмаки, словно прилипают к тротуару. Навстречу медленно, выворачивая носки, прогуливаются две пары модных джимми. Ага, перед ними мелко переступают тоже две пары маленьких женских туфелек. Вон, вероятно, летчик или шофер блеснул высокими желтыми гетрами. Нищая шаркает шлепанцами. Пробежала служанка в дырявых башмаках. Снова толпа детей с толстыми подошвами и словно свинцом налитыми носами — вероятно, на футбол. Студенты, что ли, в кожаных сандалиях, кто в носках, а кто и на босу ногу. Среди них еще кто-то в веревочных лапотках. Вдруг среди парной обуви режет глаз одна нога в тряпье — прыгает подле деревянного костыля.

Михаил морщится и посматривает на свой протез. Поэтому и сапожничать начал. Инвалидом стал и много у него, калеки, зла и нежности к людям. Злак здоровым, самодовольным, нежности к обиженным судьбой, брошенным.

Но почти не видит людей Михаил — одни ноги, одну обувь. Весь мир для него теперь в этом тусклом окошке. Сидит на табуретке, на другую, низенькую, протез положил, затиснул между коленями (одно искусственное) чей-то сапог дырявый, стучит молотком, колет шилом, дергает дратву — а сам все в окошко посматривает, питается впечатлениями.

Иногда заглянет заказчик, перебросятся несколькими словами, отсчитает деньги — и снова одиноко горбится фигура калеки-сапожника, стучит молоток, шуршит дратва, неслышно переливаются мысли.

Хорошо летом, — скверно, тоскливо зимой. Замерзнет окно, покроется причудливыми папоротниками. Глухо скрипят на обледенелом тротуаре невидимые ноги, ничего не разглядишь, даже в подвале такие сумерки, что без огня не работа. По углам утром садится седая изморозь и расплывается днем темными пятнами.

Тоскливо тогда Михаилу. Приходится жить только воспоминаниями про безрадостное детство, тяжелую работу, свое увечье.

— Что ж, — вспоминает он чьи-то слова, — „борьба жертв испугательных просит...“

Судьба судила ему быть одной из этих жертв. Пусть. Он не в претензии. Вот только плохо,

что лед на окне свет закрыл. Если бы весна поскорее...

Пришла весна — и принесла сапожнику много радости, много и печали.

## II

Он давно их заметил, эти маленькие черненькие башмачки с широким носком и низкими твердыми каблуками. Такие башмаки носят только деревенские девушки, собираясь куда-либо на праздник или гулянье. Об этом свидетельствовали и смуглые ноги с нежным пушком, золотившимся на солнце. Эти голые пружинистые ноги быстро мелькали перед окном Михаила, а через несколько минут снова возвращались куда-то обратно, торопливо и резво. Он видел их утром, видел днем и поздно вечером, когда напротив на тротуаре зажегся электрический фонарь.

Вероятно, где-нибудь вблизи, может быть в этом самом каменном доме живет, и капризные хозяева гоняют то и дело в лавчонку, что ли.

Без устали, в такт размеренным движениям сапожника, работала мысль Михаила, творя образ неизвестной девушки, принесшей откуда-то из пахучих полей эти здоровьем налитые ноги в черных грубых башмачках.

Без устали, от светло-голубого утра до хмурой поздней ночи сновала быстро девушка, не зная, что из подвала за ее движениями следят любопытные взоры неизвестного человека.

Беззаботно постукивают башмаки по тротуару, твердо ступая всей ступней, смеясь над весенними лужами, весенней слякотью.

Их веселое постукиванье подбодряет и Михаила. Он невольно изменяет темп своей работы. Рука скорее шныряет туда и сюда, а в такт работе изменяются и мысли. Сапожник вспоминает немногие счастливые минуты из своей горемычной жизни, минуты веселья и утехи. Вспоминает, как встретил однажды и полюбил девушку, как мечтали они о жизни спокойной, счастливой, как упоительно-сладки были их встречи...

А черные башмачки все одни и одни... Да как и не быть одним — ни минуты своей, все на услугах.

Вот снова куда-то спешат. Наверно, не по своему делу, не для себя. А может — и для себя: ведь сегодня, кажется, воскресенье. Неужели хоть раз в неделю не пойдут они, куда захотят?

Исчезла. Нету.

Михаил берет резак и подстругивает немного новую колодку. Твердое дерево сразу не поддается, потом падает мягкими стружками.

В следующее воскресенье перед окном остановились густо намазанные ваксой сапоги. Постояли немного, отошли, снова стали. На тротуар падает шелуха от семечек.

Через некоторое время около них появляются черные башмаки и фонтан шелухи удваивается.

Михаил рад. Михаил лукаво усмехается и осторожно разглаживает шершавую штуку хромовой кожи.

С тихой, словно отцовской радостью наблюдает он, как каждое воскресенье стоят рядом свободный часок простенькие башмаки и беспременциозные сапоги.

Посматривает искоса в окошко, озаряет приветливой улыбкой лицо и уверенными движениями кроит блестящую, остро пахнущую кожу. Будут кому-то сапожки „на ять“!

### III

Знойное было лето. Асфальт на тротуаре стал мягок, как смола. На ровной поверхности большими и меньшими пятнами виднелись выбитые каблуками ямочки. После дождя в них оставалась вода и раздражала воробьев, никак не находивших момента, чтобы к ней добраться. Ах, эти уж люди — и чего они в такую жару слоняются тут без толку?

Не одну ямку выбили уже и намазанные ваксой сапоги перед окном Михаила, поджидая, пока выйдут башмаки. Что-то не появляются долго они сегодня. Нетерпеливо постукивают сапоги по тротуару, нетерпеливо постукивает и Михаил длинным молоточком, загоняя в подошву гвоздики.

Нет и нет. Не случилось ли чего? Гневаются, не пускают хозяева? Заболела?

Не узнал про это Михаил, не узнали, вероятно, и сапоги — продежурили до темноты и отправились назад, одинокие, печальные. Пошли, оставляя грубокий след на асфальте.

Встревожился, как за родное дитя, Михаил, когда и во второе, в третье воскресенье повторилось то же самое. Не иначе, как горе приключилось. Готов был взять костыль и поковылять куда-то на поиски.

Пришел заказчик, ругается: подъем тесен, гвозди сквозь подошву покалывают.

— Только и дела мне, что с вашими сапогами?!

Но вот видит он однажды под вечер:— что-то будто знакомое, будто и нет. Даже встал и к окошку придвинулся, чтобы присмотреться получше. Да, это те самые черные башмаки, только где-то они розовые чулки достали. Словно поросята малые в них ноги. Пухленькие, на зарез откормленные.

Покачал головой Михаил, загрустил:

— И зачем это розовые? Людей на похабные мысли наводить? Известно, почему мода на такое пошла — под голое тело. Эх!

Сердито шпигнул шилом кожу, та даже чавкнула.

Стоят черные башмачки с розовыми чулочками, ожидают, что-то задумчиво носком на тротуаре подгребают. Ожидает и Михаил. Отлегло уж ему: вот сапоги придут, после долгого перерыва обрадуются, намянутся.

И действительно — вскоре что-то заслонило свет. Сапожник поднимает голову, внимательно всматривается, высоко подтягивает лохматые брови. Это не сапоги! Какие-то желтые американки с косыми носами остановились за окном. Над ними брючки выглаженные с отворотами, коротенькие, модные. Цветные полосатые носки выглядывают из-под них.

Зачем напротив башмаков остановились? Разве знакомы? Вероятно — да, так как вот уже башмаки рядом, вот пошли куда-то в паре.

Та-ак! Задумался Михаил, хмурит лоб.

Смотрит — на другой день снова выбежали башмачки, топчутся беспокойно возле окна, а через некоторое время к ним длинные американки придвигаются. Тогда — рядом и прочь от окна. Когда возвращаются — не видно.

А в воскресенье, как только они двинулись, на этом месте появились намазанные ваксой сапоги, момент постояли, резко повернулись и торопливо пошли назад, в другую сторону.

Не по себе стало Михаилу. Давно уже не замечал тяжелого запаха кожи в своей мастерской, а тут — горло давит, такой смрад.

И возненавидел он эти косоносые американки, как своего собственного врага. Вот так и плюнул бы на их нахальную желтую кожу. Вот так и кольнул бы под бок шилом, чтобы не лазили тут под окном.

И на черные башмаки не так уж приветливо поглядывал Михаил. Собственно не башмачки, а розовые чулочки его раздражали, глаза резали, словно горячий песок.

И злая радость его обуяла, когда однажды лохматая собачонка вдруг залаяла залихватым сытым лаем, а затем укусила за розовый чулок. Чего, мол, останавливаться, где мне нужно? На ноге ручейком заалела кровь. Ее рыжеватая полоска осталась и



потом на чулке, начинаясь от свежего, розовыми нитками шитого рубца.

— Так тебе и нужно,— злобно приговаривал сапожник,— не знайся с этим отродьем. Вот тебе!

И еще радовался он, когда башмакам все дольше и дольше приходилось ожидать, когда ненавистные американки иногда и совсем не показывались. Может отцепятся?

Между тем осень плакала мелкими, холодными слезами, покрывая тротуар липкой слизью. Изредка выпадал ясный, солнечный день, даря людям последние теплые ласки.

И был такой солнечный день.

Михаил выпрямил сгорбленную спину: сегодня больше работать не будет. Задумчиво смотрит в окно, освещенное косыми лучами солнца. Какая-то мягкость овладевает душой. Надо открыть форточку, вдохнуть отравленными легкими свежего воздуха.

Вдруг — словно камень кто-то бросил в колодезь — дерзко выступают перед глазами желтые американки, а рядом... рядом, вместо знакомых черных башмаков, ковыляют на высоченных французских каблуках какие-то лакированные туфли.

— Не нашел другого места прогуливаться, бесстыдник,— рванулся Михаил, даже ведро с варом перевернул. Потек он по полу черной, липкой змейкой.

А через минуту заметил Михаил за окном черные башмаки. Метнулись они быстро вперед, снова отступили, постояли в горькой задумчивости — и плелись печально вдогонку...

Прошла барыня с лохматой собачкой. Какой-то пес хотел ее обнюхать. Собачка испуганно завизжала. Барыня ткнула пса зонтиком. Поджал хвост, исчез...

Долго не видел после этого Михаил своих знакомцев. Высматривал и утром, и днем, и вечером — нет. Может быть, руки на себя наложила? Может, где-нибудь в ином месте нанялась? Вероятно — так, иначе давно бы уже видел, этак высматривая.

Далее меньше тревожился, реже вспоминал, а потом и совсем стала исчезать из памяти. Заслонили иные впечатления, иные события.

Наступила зима, приморозила пока-что легонько окошко, покрыла белым настом тротуар. Спрятались ноги в калоши — меньше разнообразия, меньше интереса Михаилу. Но и из тысячи ног отличил бы он вон те в розовых чулках с рубцом от укуса и едва уж заметной рыжеватой полоской.

Вот прошли они мимо окна раз, другой, третий. Вот подошли к ним какие-то рваные громадные калоши, пошли рядом, исчезли... Минут час. Видит Михаил знакомые чулки снова. Ходят туда и сюда. Снова идут в паре с какими-то скрипящими сапогами. Исчезли...

Электрический свет косым парусом падает в темную мастерскую, отбрасывает длинную тень от погнутой фигуры Михаила.

Глаза его закрыты. Губы по привычке шепчут давно заученные слова:

— „Борьба жертв искупительных просит...“

На тротуаре пусто. Ночь.

## БАНДА

Подгаецкий сахарный завод не раз подвергался бандитским нападениям.

Помнит комендант Трясогуз, как впервые прятался он в колючей дерезе, когда атаман Черный к ним наведася. Исцарапался так, будто с котами дрался.

А Черный зашел тогда в комендатуру — там портреты Маркса, Ленина и Шевченко висят. Глянул гневно, плюнул, снял Тараса Шевченко и поставил в углу, лицом к стенке.

Забрал тогда Черный всю мануфактуру, присланную из города для прозодежды, и — во-свося. Счастлииво отделались: только одного милиционера убил да рыжую сапожничиху изнасиловал. А быть может и этого не было, так как подлая баба что-то уж очень скоро после этого родила. Не Кирилка ли писаренок, говорят, с нею бандитствовал, а на Черного взвели, чтобы старому сапожнику глаза замазать?

Кто там разберет, — однако Черный через несколько месяцев еще раз на Подгаецкий завод наведася. Снова пришлось коменданту во рву отсиживаться. Снова батька-атаман в комендатуру зашел

и снова на стене портреты Маркса, Ленина, а посреди них Шевченко увидел. Крякнул батька-атаман, покачал укоризненно головой и грустно молвил:

— И ты, Тарас, в коммунию затесался!

Потом отправился грабить сахар. Подвод двадцать вывез.

А в третий раз иначе все произошло. Первым прибежал средний сапожничихи сынок, который тогда пастушком служил:

— Ой, мамочка, бандиты в лес на автомобилях приехали. С ружьями, саблями... Шапки со шлыками...

Сапожничиха как была простоволосая — в комендатуру да в крик:

— Ой, спасите, снова Черного нелегкая принесла!

— Фу, дура, разве бандиты на автомобилях разъезжают?

Вдруг в лесу раз — выстрел, другой раз — выстрел.

Эге-ге! В самом деле — беда. Директор с женой — в погреб, главбух на карачках — в огород, администрация вся кто куда сразу ушлась. Один комендант Трясогуз не сдрейфил да к телефону в город:

— Высылайте немедленно войско. Бандиты из броневика завод наш обстреливают. Ой, спаси...

...как ахнет в лесу выстрел, только дым столбом, а Трясогуз моментально в дерезе очутился. Свернулся ежом и дрожит, как щенок заброшенный.

В городе переполох. Военком — на коня. В окружке паника (еще бы — всего семь верст до Под-

гаецкого), телефоны дребезжат, на улице верховые скачут, комсомольцы митинг собирают...

Наконец, снарядили экспедицию. Впереди конных полусотня, далее два пулемета на бричках-тачанках, сзади пеших человек полтораста набралось. А в городе комсомол вооружился, везде на подступах заставы расставил.

Тем временем на опушке автомобиль ворчит, кое-когда слышны выстрелы. Кирилка-писаренок на чердак заводской взобрался и оттуда видел, как бандиты между деревьями перебегают, рассыпаются в цепь. А под большим дубом что-то в роде пулемета на треноге поставили. Хлопочут возле него бандиты, туда-сюда поворачивают — на завод, значит, прицел берут.

— Ох, скорее бы помощь пришла, а то дадут духу, как белым под Перекопом...

Но городской отряд не торопился. Выслал вперед разведку. Конные пошли в обход через лес. Пулеметы за пригорком укрылись. Бывалый военком — еще за Махном когда-то гонялся — для спокойствия в окружном первый рапорт прислал:

Окружаю врага. Ни один живым не уйдет. Приготовьте тюрьму для пленных. Созывайте ревтриб. Военком Скорохватский.

А в лесу снова как трахнет бомба. Схватили бандиты пулемет и куда-то в другое место тащат.

— В атаку, вперед! — воскликнул военком и с саблей наголо к лесу.

— Ур-ра! — отряд за ним дружно, а сбоку пулеметы с тачанок так-так-так, — только пули зафьюкали.

Бандиты от неожиданности — драла в лес, а от туда конные навстречу — те, что в обход пошли.

— Эй, руби, не жалей!

Военком к пулемету вражескому (бандиты с перепугу бросили), сам думает:

— Не иначе — орден Красного Знамени заработаю...

Подскакал соколом — да и стал столбом придорожным:

перед ним на треноге сиротливо стоял кинематографический аппарат. Чуть было не перебили артистов, которые сюда приехали снимать картину не то „Остап Бандура“, не то „Батько Кныш“.

Вот такая была последняя банда в Подгайском. Коменданту Трясогузу она больше всего неприятностей доставила, но про это расспросите нашего военкома Скорохватского.

## ЧАСЫ

Карель редко брал их с собой. Обыкновенно они поблескивали своей выпуклой крышкой из миниатюрной черной туфельки, которую сплела Ганнуся Карелю из своих вьющихся волос.

Это было, когда в стремительных переходах конной бригады, где была она сестрой, Ганнуся два долгих месяца боролась с тифом.

— Хоть эта туфелька, любимый, останется на память обо мне...

Но осталась и туфелька и Ганнуся — и вьющиеся волосы ее и теперь целует долго и нежно Карель, сменивший островерхий шлем на плоскую кепку.

Про былые кровавые дни напоминают только часы, где на внутренней стенке крышки написано:

Герою Красной Армии тов. Карелю  
от Реввоенсовета Конной Армии.

А у Ганнуси тоже реликвия — маленький, как игрушка, наганчик. Не расставалась с ним почти никогда.

Карель — латыш. В его голубовато-серых глазах отражается туманное небо далекой родины, а его

мягкий акцент всегда вызывает шутки полтавчанки Ганнуси.

Вот и теперь на городской окраине:

— Пей тепя шорт! — вскрикивает Карель, заехавши в темноте ногою в лужу.

Ганнуся помирает со смеху:

— Чтобы чорт лужу выпил или тебя побил, такого осмотрительного? Иди-ка сюда на пригорок, — и козочкой скачет где-то в стороне, — догони, медведь неповоротливый!

— Пусть тепя фетер дохანяет, — отряхивается в темноте Карель, нащупывая возле забора сухую дорожку.

Вдруг из-за забора:

— Стой! Руки вверх!

Прямо в глаза длинный „стаер“. Разбойничья рука — за ворот. Ощупывает карманы.

— Пусто, как в кассе потребиловки. А баба хитролобая — драла дала. Ну-ка, скачи вдогон!

... Растерянный догнал „хитролобую“. Подняла на смех:

— Вот так герой конармии! Хорошо, что штаны оставили...

— Харашо, харашо, — передразнивает сердито Карель, — все оставили, все ест..

— А часы? — внезапно вспомнила.

— Ой, — тронул карман, — подлец этакий!..

Решительно повернулся итти назад.

— Карельчик, милый, не надо! Он тебя убьет... Возьми хоть мой револьвер. И я с тобою, и я..



Повисла на руке, не пускала.

Карель неумолим. Это — подарок Реввоенсовета. Это добыто его кровью. Часы не должны быть в воровских руках. Позор, если он, Карель, не отберет их назад.

— Ради нашей любви! Ради всего дорогого!

Мысль работала пронизывающе остро. Тысячи невзгод пережила, чтобы, наконец, узнать счастье. И вот тут, на пустынной окраине города из-за какого-то пустяка потерять любимого. Нет! Как-то надо устранить опасность, найти способ...

— Карельчик, ведь там дальше поле. Он должен возвращаться этим же путем. Сделаем и мы ему засаду, как он тебе. Так вернее.

Убедила. Согласился.

Притаились за придорожным кустом. Только Ганнуса теплой рукой нежно гладит шершавую руку Кареля, — а в ней чернеет крохотный наган.

В пустой тишине шлепающие шаги. Ворчит под нос бесшабашно весело:

Я в тюрьме не побывал,  
Чим-чур, чур-ра!  
От милиции удрал —  
Ку-ку!

Вдруг из-за куста:

— Стой! Руки вверх!

Прямо в глаза наган. Крепкой рукой за ворот. Две маленьких по карманам.

— Теперь — скачи назад, а то пуля! Ну?

... „Стаер“ уже у Кареля. Присматривается,— со злостью бросает в лужу. Ганнусе убежденно:

— Я—дурак! Это какая-то ржавая трубка,—и прибавляет виновато: но ведь так темно, так темно было...

Грабитель где-то далеко шлепает по лужам, громко бранясь, а Ганнуся до упаду смеется над провинившимся северным медведем:

— Вот так герой! На тебе часы—из кармана вора взяла. Ну-ка, ахни хоть раз из моего нагана, чтобы не подумал, что и ты трубкой сражался, липовый рыцарь!

— Сама перепугалась, а теперь на смех поднимаешь, принцесса пресных вод!

— Да, герой с бородой, бил дубиной мошек рой...

... Обмениваясь шутками, вспоминая каждый момент из своего ночного приключения, пришли супруги домой.

— Иди-ка, помойся, бандит придорожный, а я тем временем поужинать приготовлю. Что же ты остолбенел?

Рыбьими, огупелыми глазами глядел Карель на стену подле кровати. Рука нервно шарила в кармане, что-то поспешно нащупывая.

Ганнуся тоже глянула молча на стену, где из черненькой тувельки выглядывала выпуклая крышка часов Кареля.

Он редко брал их с собой.

## В БОРУ

Пауком стоногим сосны в землю вцепились. Коцнешь тоненькую мшистую корочку возле ствола— один песок под ней, серый, сыпучий, сухой. Выкопал себе канавку, с туловище глубиной—и туда, головой к стволу. Соседи—так же. Окопались и лежим молча колодами. Будто никого в бору и нет. Только тонкая кожурка сосновая где-то от ветра трепещет. Повеет ветерок сильнее—зашумят немного верхушки, скрипнет где-то ветка, задев за другую—и снова тишина лесная, величественная, суровая. Не слышно пташек, наполняющих своим щебетаньем листовые леса. Не слышно стрекотанья кузнечиков, ни веселого гуденья жуков, пчел и шмелей. Высятся сосны, как янтарные свечи под темнозелеными ризами, светлые, блестящие вверху, бурые, испещренные морщинами внизу. Ровные—глазу то-скливо.

Смотрю наземь, на край своей канавки. Неужели и тут жизнью не пахнет? Какая-то серая, безнадежная пустыня. Кой-где зеленоватый реденький мох пробивается. Желтоватые иглы густо покрыли землю. Нигде никакой поживы.

Но вот ползет одинокий муравей, с иглы на иглу перебирается. Вон еще один. В твердой корочке чернеет отверстие. Усики выглянули раз, другой. Потом с комочком земли муравей показался, положил его неподалеку и снова в отверстие нырнул. Вон второй тянет к муравейнику какой-то стебелек. Ноша вдвое больше его, неудобная, тяжелая. Потянет муравей, устанет, побегаёт вокруг—снова в стебелек вцепится и подвигается понемногу к дому своему.

Вспомнил я, как приходится нам возрождать хозяйство—и симпатией проникнулся к этим пионерам пустынным, одиноким. Да нет, не одиноким!

Еще раньше заметил я воронкообразную ямку в песке. Ровненькая, чистенькая, как купол на колокольне, обращенный шпилем вниз. Среди мельчайших крупинок на отлогих стенках ямки ни одной большей крупинки не видно. Не замечает этой ямки муравей, подвигается задом, таща свой стебелек—и внезапно срывается стремглав с обрыва, превышающего его рост во много десятков раз. Быстро перебирает ножками—не за что зацепиться. Сыплются крупинки из-под муравья, катятся вниз на самое дно песчаной воронки.

Вдруг это дно словно ожило. Стремительным фонтаном оттуда брызнул песок и градом упал на горемычного муравья. Будто извержение маленького вулкана началось в мертвой до сих пор ямке. Муравей цепляется всеми своими ножками за отлогие стенки, песочный фонтан падает на него

бурным потоком, влечет книзу, к сокрытому в глубине источнику этого неожиданного извержения. Ниже, еще ниже. Нет точки опоры, нет спасения... Песочные взрывы с неумолимой точностью падают на маленькое существо. Вот уже видно, кто их производит: какое-то плоское, серое, как песок, чудовище, с брюхом, как у большого клопа, со страшными клешнями, как у краба, морского рака. Песочный клещ. \* Это он подстерегал неосторожного муравья, он бомбардировал его тучами песку, а сейчас схватил поперек, словно щипцами, и тянет в свою подземную берлогу. Муравей сопротивляется, извивается в смертельном ужасе, безуспешно пытается укунить твердый панцирь клеща. Если бы мог он кричать—я наверное услышал бы его отчаянный вопль. Напрасно! Напавшее чудовище немилосердно влечет его в песчаный гроб, закапывается вместе с ним все глубже и глубже. Вот только ножка судорожно извивается на днышке, вот шевельнулись в последний раз крупинки в воронке — и будто не было тут ужасной маленькой драмы, будто никто никого не убивал, не истязал. Ровненькая, чистенькая, как детская игрушка, ямка. Вокруг мирно бегают работающие муравьи. На краюшке западни сиротливо брошен стебелек.

Я вспомнил волчьи ямы. Чуть ли не в три метра глубиной, чтобы и подпрыгнув рукою нельзя было достать края, выкопаны были они клетчатой полосой

---

\* Клещевидная личинка так называемого муравьиного льва.

перед вражескими окопами, узкие внизу, широким отверстием сверху. Тоненькой, невидимой глазу проволокой, как паутиной, запутана земля между ямами этак по колено. Когда бросались в атаку, с разгону в паутину — и стремглав в ямы. А на дне острые колья набиты, насквозь прокалывали животы, груди. Корчатся люди, как жуки, насаженные на булавки...

Так дикари диких зверей ловят. Поэтому и волчьи ямы. Так казнили врагов своих, сажая на кол. По три дня мучились, не умирая. Так воевали культурные люди в японскую, в немецкую войну...

А теперь разве не так? Помню, как когда-то на плотине положили мы бороны зубьями вверх и соломой прикрыли. Когда помчались вскачь с горы на плотину польские уланы — посмотрели бы вы, какая каша из людей и лошадей там была! А мы с противоположной горы по месиву из пулемета, из винтовок... Жара!

Так. Сидели немцы, японцы за волчьими ямами, за невидимой проволокой в западне, сидели мы за плотиной, покрытой боронами, сидит вон там в ямке клещ, — сидим и мы тут, подстерегая офицерский отряд. Наступление диникинцы ведут, хотят тут в обход против нашей позиции за бором пойти, а мы заставы расставили, сторожим. Кровь за кровь. Убийство — закон войны.

Далеко в лесу между соснами видно. Кустарника нет, могучие деревья редко растут. Вся земля тут громадными песчаными волнами-валами вздута, словно грозно бушевало когда-то доисторическое

море. Лежим мы на таком валу в своих канавках только головы видно и поблескивают рядом винтовки. Тишина. Сорвется сухая шишка с ветки— слышно. Зевнет кто-нибудь в цепи—все вздрогнут. И снова тишина.

Лежу, думаю. Ну, кто мы такие, почему нам не дают никак мирно свой муравейник строить? Вон сосед мой в цепи. Юноша, — вероятно, и шестнадцати лет нету. Сидел бы дома, на заводе меха раздувал бы учился б кузнечному делу — приходится тоже на фронте мучиться. Гнали было—малолетний. Не идет, чуть не плачет: „Куда,—говорит,—пойду? Сирота, родителей белые расстреляли, завод стоит. Буду с вами, пока снова работать где-нибудь можно будет“. Сам изможденный такой, уже, вероятно, чачотку заработал, либо от родителей в наследство заполучил...

А-ах!—трахнуло где-то в бору. В лесу трудно узнать, где выстрел. Кажется, вот тут где-то близко, в самом деле далеко. Эхо в лесу гулкое. Даже направление не всегда как следует угадаешь.

Так и теперь. Показалось от неожиданности, что где-то тут, перед самой нашей заставой. Вся цепь прилегла, словно влипла в канавки, только затворы винтовок щелкают. Минута, вторая, третья—никого и ничего. Может быть, кто-нибудь охотится?

Вдруг часовой бежит, запыхавшись, будто собаки за ним гнались:

— Едва убежал. Офицеров целая сотня прямо сюда цепью идет. Готовьтесь!

А что готовиться? Нас всего двадцать. Единственная надежда—два пулемета „Льюиса“. Один у парнишки-кузнечонка шагах в сорока от меня, а другой—с пятью краснармами в обход наскоро посылаю:

— Как услышите—наш „Льюис“ трещит, это сигнал, что атака начинается. Тогда и вы на врага бегом и вдоль их цепи — из пулемета.

Кузнечонку приказываю:

— Как шапкой махну — стреляй, а до этого — молчи, скорострела белым не показывай. Пусть господам это красное яичко сюрпризом будет.

Пока порядок навел, всех обошел — офицерская цепь показалась. Густо идут. Где наш один — их трое, да сзади, видимо, резерв. Скверное дело!

Вояки опытные—сразу не бросаются, осторожно цепь разворачивают, нащупывают наши фланги. Но и мы не дураки—заблаговременно полукругом легли, чтобы вражескую линию растянуть и себя обеспечить от обходов.

Тут выстрел, там выстрел — легкая перестрелка началась, словно бабы на пруду валиками щелкают. От дерева, ближе и ближе белые подходят. Действительно—офицерский отряд, не из мобилизованных, желающих воевать, как на крещение купаться.

Один против меня меткий объявился. Чуть выгляну из своей канавки — тотчас клюну снова под ствол головой. Пули около самого уха свистят. А сам за толстенной сосной прячется. Никак не попаду в него — просто отчаяние берет.



И давай мы с ним в прятки играть. Я выгляну, чтобы внезапно выстрелить—он спрячется. Он выглянет—я скорей за ствол, чтобы в голову не попал. Забыл я и про товарищей, и про других врагов. Одна мысль—как этого офицера подстрелить и как от его пуль остеречься. На смертельный поединок пошли. Он для меня дичь, я—для него. Стерлось из памяти все—и где мы, и кто мы, и почему деремся. Просто: вот он меня убьет, если я его не убью. Кто первый?

Одну обойму выпустил, другую заряжаю. Вот чуть-чуть не поймал на мушку. Успел отклониться, проклятый! А вот мне плечо царапнуло. Спрятался я снова, сам, как пружина сжатая—вот мигом выскочить, выстрелить. Мысли остро сверлят мозг, слышно, как пульс в висках бьется, руки дрожат, сжимая винтовку скрюченными пальцами. Взгляд на яму с клещем упал. Не видно клешнистого. Да знаю—сидит там, подлая тварь, поджидает жертву. А мой офицер что в этот момент делает? Хоть край головы высунь—так и опечет. Откуда он выглянет—справа или слева? А мне куда теперь взглянуть, чтобы его обмануть: слева или справа? Ну, бросай жребий на свою жизнь. На счастье... Нет, стоп! Может быть как-нибудь шапку выставить с одной стороны, а самому, чтобы оставить в дураках... Сам ты дурак—вдруг в голове молнией—зачем ему ожидать, пока я выгляну, если пуля такое дерево свободно пробивает?! Внутри у меня похолодело, к груди подступило, а в лоб словно доло-

том ударило. Вот-вот пулю между глаз получу. Так было, когда мы когда-то одну избу в решето превратили со всеми теми, кто в ней был. Мысли вихрем понеслись, одна другую перегоняет.

Что делать? Спрятался на свою беду, чтобы не видеть движения врага. Может быть, он уже в меня прицеливается? Куда? В голову, живот, грудь? Нет сил устоять за стволом. Мигом выскакиваю и, почти не глядя, паляю по сосне на середину человеческого роста.

Упал! Я победил. Хочется от радости прыгать, как дикарю над трупом врага. Чувство спасенной жизни громким криком наполняет грудь — но некогда... Новая опасность надвигается. Лес — не чистое поле. Пока мы с офицером танцевали около своих сосен, вражеская цепь перебежала от дерева к дереву и приблизилась уже шагов на сто, двести. Еще немного — и атака, а может быть и сейчас. Надо предупредить парнишку-пулеметчика. Вон он под холмиком лежит, глядит на меня, что-то показывает. Я ему фуражкой — стреляй! Он снова руками разводит. Ну, стреляй! Офицерская цепь густеет, вливается резерв. Да стреляй же! Вдруг понимаю. Не может — задержка в „Льюисе“. Ах, сто чертей, пропадем! Зверем прыгаю к соседнему дереву, чтобы приблизиться к кузнечонку и исправить скорострел. Поздно! Белые бросаются на ура.

На меня бегут двое. Как сделать, чтобы, по крайней мере, не одновременно на меня напали? Отскакиваю еще в сторону и в сторону, чтобы растянуть

и скосить треугольник между нами. Тогда поодиночке встречу. Руки цепко впились в винтовку. Теперь по-стародавнему, как прадеды ходили на медведя с рогатиной. Глаз вымеривает каждый шаг, каждое движение. Вижу блестящие пуговицы на противнике и решаю, под которую всадить штык... Мелькает в памяти учебное чучело, которое мы когда-то немилосердно потрошили...

Вдруг сбоку дикий, нечеловеческий крик. Так ржет жеребец, бросаясь на противника в садистической ярости. Так кричит женщина-родильница. Вне себя, дико, страшно, по-звериному.

На миг я забываю про своих врагов и оглядываюсь. Мне потом рассказали, как это случилось. На безоружного кузнечонка—у него, кроме испорченного „Льюиса“, ничего не было—мчался со штыком наперевес громадный офицер. Парнишка пригнулся и упал ему неожиданно под ноги. Офицер с разгону налетел и не удержался: вниз лицом опрокинулся и руки разбросал. Кузнечонок кошкой очутился у него на спине и, как когтями, вцепился в щеки. Когда я оглянулся, он словно взнуздал противника и разорвал ему рот—оттуда несся этот нечеловеческий рев...

Некогда слушать. Дерево на этот раз помогает мне действительно спрятаться от вражеского штыка, а через миг—мой штык торчит в офицерских ребрах. Второму попадает в голову пуля соседа. Тогда же сбоку тарыхтит спаситель „Льюис“. Не дождавшись сигнала, сами обходные во-время выско-

чили на помощь. Хоть и в лесу, а с пулеметом—не шутки. Где было рассмотреть, что с ним только пять человек? Паника— всегда паника,— и сотня офицеров бросилась бежать, не осуществив своего плана, бросая убитых и раненых.

Нас также осталась половина... Похоронили там же, в бору.

Спросите: а что же с кузнечонком? Ох, не так, как в романах и повестях... Когда, отогнавши подалее противника, вернулись мы на место боя— лежал парнишка весь исколотый, с разбитой вдребезги головой, в луже черной, запекшейся крови. Офицер с разорванным ртом исчез. Клещ сделал свое дело.

## ЖЕЛТЫЙ РИДИКЮЛЬ

Стратон не был вором. Никогда ему не приходило в голову взять чужое. Он из бедной крестьянской семьи, и чувство уважения к собственности воспитано в нем сызмала. Но в этот памятный день будто кто-то под руку толкнул — возьми, возьми.

Да и искушение было большое.

До ручки дожился тогда Стратон. Давно уж и в дешевую студенческую столовку не было с чем пойти. Хоть назад из рабфака в деревню оглобли поворачивай. Пришлось последний ресурс, как экономисты говорят, пустить в обращение. Снял Стратон нижнюю рубашку, снял подштанники домотканые роменские, выстирал все начисто—и пошел на Благбаз\* за полтину, что ли, сбуть. Хоть и последняя это пара исподнего была — все же лучше, как говорят, во всем голом щеголять, чем от голоду питаться.

А на Благбазе народу—как в улье. Торговки толстобокие, жирномордые, колбасой, блинами, жареным, пирожками торгуют. У Стратона даже слюна набегает:

---

\* Благбаз (Благовещенский базар) — наибольший в Харькове.

„У-ух, гнездо паразитное! Ни за что в окончательную победу социреволюции не поверю, пока на базарах не исчезнут бабы-торговки со всеми ларьками...“

Двинулся дальше, — глядь, — какая-то дородная барыня ему кивает:

— Иди-ка сюда, корзинку к дому поднесешь.

„Вот случай! Гляди-ка — и подштанники целы будут, по крайней мере до завтра“.

Взял корзинку со всякими овощами, мясом и прочим таким для варева и поплелся следком.

Плывет барыня впереди, бедрами вертит, в руке желтый ридикюль болтается.

„Вот откуда у нее денежное обращение начинается... Вишь, сколько накупила, обжора подлая!“

Посматривает барыня назад, боится, чтобы парень с корзиною лататы не задал.

„А, толстозадая, дрейфишь? Что ж, только захотеть, чорта пухлого поймала бы... Куда это ты? Еще тебе мало?“

Завернула барыня в гастрономию, вино покупает, закуски разные берет.

„Вишь, что непмания уплетает, а ты поясок подтягивай, Де-енег-то сколько, мать моя родная! Целый банк!..“

Острый глаз Стратона впился в желтый ридикюль. Вынула из него барыня пачку червонцев, выбирает, какую бумажку в кассу отдать.

„Эх, мне там, гляди, на круглый год хватило б! И оделся бы, и обулся, а уж наелся б, наелся!..“

Заметила барыня жадный взгляд Стратона, скосила глаз, поправила что-то быстрым движением на груди, ридикюль скорехонько закрыла—и Стратону приказ:

— Идем!

Пошли. Ридикюль все перед глазами болтается, желтеет. И червонцы в нем словно шелестят, приговаривают:

„Тут тебе и комната теплая, и еда вкусная, и книжка-учебник, и сапоги новые, и белье чистое...“

„Э-эх,—грабь награбленное! Барыня от этого не обеднеет, чудище нэповское, а мне... Ну, не стыдись...“

Как только поравнялись с какими-то воротами, дернул Стратон изо всех сил за ридикюль желтый и кинулся опростетью во двор. Только ахнула барыня от неожиданности и перепугу,—больше Стратон ничего и не слышал. Пулею промчался двором, перескочил через задний забор и через минуту, как борзой пес, скакал в саду другого двора, выходящего на параллельную улицу. Не утихомирился и там,—будто пятки жгло Стратону, так летел он все дальше и дальше, крепко прижимая к груди заветный желтый ридикюль. Ведь там вся его надежда, все счастье и благополучие.

Далеко возле железнодорожной насыпи остановился Стратон и сел под откосом, запыхавшись.

Сладкая истома овладела им. Даже глаза зажмурил:

„И как это все так быстро и хорошо произошло? Хоть в бога верь—будто нарочно послал к

нему эту барыню с желтым ридикулем. Ох, ты мой миленький! Сколько радости в тебе таится..“

Стратон готов был расцеловать желтую потрепавшуюся кожу. Лицо у него сияло, губы невольно расплывались в блаженную усмешку, глаза сверкали дерзко, счастливо...

„Ну-ка, посчитаю, сколько я заработал за услугу барыне толстозадой. Корзинку ведь не даром протаскал кварталов пять“.

Пальцы Стратона дрожа погрузились в ридикуль.

Лицо Стратона вдруг застыло в кривой усмешке, глаза стали круглые, оловянные, брови полезли на лоб:

желтый ридикуль был пуст... Дородная барыня догадалась переложить деньги в другое место.

Стратон никогда не был вором.



## ЗА ЧТО?

Два еврея жили в нашей Лукашевке: рыжий Иоська и Борух Нахимсон. Иоська держал бакалейную лавчонку. Меня мать часто посылала туда купить спичек, керосину, что в крестьянской избе нужно. Посылая предупреждала:

— Гляди, дочка, чтобы тебя рыжий жидюра не обманул!

Так и выросла я в убеждении, что евреи специализировались на обмане простых людей. Прийдя в лавчонку и слыша, как гергеркают они на своем непонятном языке, где ухо вылавливо только слова „рубль“ и „копекен“,— думала:

— Они нарочно так говорят, чтобы никто не понял. Ведь это они условливаются, как с людей больше денег содрать и скверный товар сбыть.

И жаль мне было отдавать заработанные тяжким трудом отцовские деньги в жилистые, цепкие руки Иоськи. Сколько люди не добудут в беспросветной, тяжелой работе— все в этих бездонных карманах у торгашей очутится. Надобно материи, платков, иголок— иди к Иоське. Надобно мыла, керосину, гвоздей, дегтя— иди к Иоське. И за маслом, драт-

вой, табаком, бумагой, сахаром, солью — снова к нему. Чуть ли не ежедневно топчешь эту дорожку, чувствуешь свою зависимость от Иоськиной лавочки. словно паук расположился на площади, запутал в свою паутину все село и сосет, сосет... Куда только это все девается?

Правда: возле грязного, запятнанного Рохлиного подола всегда возится целая куча картавых рыжеголовых детей, на коленях колышет она пискливого младенца, а выпяченный живот Рохлин каждый раз доказывает, что эта куча в скором времени еще увеличится.

И все это — хоть не смотри — грязное, сопливое, шелудивое. И домишко грязный, облупленный, немазанный, полный клопов, тараканов. Фу! чесноком и луком воняет изо всех углов. И едят они как-то не по-людски. И одеваются не по-нашему. И молятся. Строятся они крестьян наших, строятся и люди их. Так и говорят: то — люди, а то — жида.

— Одним словом, жид, — презрительно сплевывает крестьянин, глядя, как Иоська дергает свою облезлую лошаденку и цмокает на нее, трясясь на таратайке за новым товаром в местечко.

Проникалась я вместе с хозяевами омерзением к торгашеству, заработкам на чужом труде, выгадыванию копеечек и полушек на потребительской разнице, — полушек, за которые обязательно надо было долго и азартно торговаться, зная наперед, что Иоська, как бы ни божился и ни присягал, а должен обмануть, должен взять больше, нежели эта вещь стоит.

Вероятно, Иоська и сам чувствовал себя неловко, хотя привычный ко лжи и клятве язык его каждый раз уверял, что он „цесный зид“. В оловянных, широко раскрытых глазах у него навсегда застыл перепуг. Лоб глубоко бороздили мученические морщины. Движения нервные, неуверенные. Не берет, а будто тайком дергает, чтобы украсть, и боится: а вдруг кто-либо увидит? Вечные хлопоты с выводком своих крикунов, ежедневные заботы о куске хлеба, одежде, обуви, лекарствах и тысяче иных мелочей для своих рыжеголовых, а вместе с тем— грозные крики разного „начальства“, требовавшего взяток и льстивых слов от лавочника, который, собственно, не чем иным по царским законам и быть не мог, как и его отцы и деды; далее — одинокая жизнь, отрезанная ото всех семей (Нахимсоны Иоськи также сторонились и он пресмыкался перед ними, как и перед господами), жизнь среди „неверных“—„гоев“, готовых только издеваться и издеваться даже при несчастьи, если оно случится,— все это и заложило в Иоськины глаза этот неизгладимый, застывший, вечный перепуг.

Но сызмала мне казалось, что „цесный зид“ боится, как бы людям ни надоело терпеть дерзкий обман и не побил бы кто-либо его за „цесные“ заработки и за крик, который он поднимает, выторговывая каждую копейку.

Жалкие, мелкие были Иоськины копеечные заработки перед барышами Боруха Нахимсона. Он арендовал помещичью мельницу и вел порядочную тор-

говлю зерновым хлебом и мукою, продавая их где-то в Одессе.

Старый пан Дзевановский, который на земные поклоны Иоськины только нос чванливо задирает,— Боруха иногда допускал даже в свой кабинет. Черные, маслянистые оливы-глаза Боруха выпучились дерзко, нахально. Пухлые, мясистые губы кривила алчная усмешка: ведь он знал, что все местные баре так же точно сидят у него в лапах, как беднота сельская— в Иоськиных. Как ни крути, как ни верти, а без Боруха не обойдешься, так как кроме торговли он не брезговал и ростовщичеством и скопил себе таки немало. Об этом свидетельствовали бриллиантовые перстни, разноцветные сережки, ожерелья, тяжелые золотые браслеты, драгоценные булавки и венчики, которыми разукрашена была жена Боруха. Сухая, бледная, словно молоком налитая, только губы кровавились, как у вампира.

Вот эти-то побрякушки и спасли потом проныру Нахимсона, и дали возможность возобновить свою паутину. Это был его резервный фонд, с которым он отправился в город, как только услышал первые раскаты революционной грозы. И барахло успел продать, и всю домашнюю обстановку. Скрылся моментально.

Да, такие скрываются... А вот Иоське скрываться было негде, и перепуг в его глазах исчез тогда навеки...

Наши крестьяне Иоськи не трогали. Хоть и не было у них к нему приятни, но не было и мсти-

тельной ненависти. Привыкли они к лавочнику, как к старому вереду. Необходим он был им. Чужого, может быть, и не помиловали б, а это был „свой“, лукашевский.

И барышничать стал меньше — нечем было. Копался со всей семьей на огороде.

Пока не налетела махновская банда, жил мирно Иоська и только перепуг в его оловянных глазах увеличивался, движения стали еще более нервные, порывистые. И не по-напрасу: со всех сторон неслись слухи о нечеловеческих погромах, дикой резне, грабежах, пожарах. Парни не раз, полушутя, полусерьезно предупреждали:

— Удирай, а то и тебя побьют!

Иоська принужденно смеялся, недоверчиво переводил глаза с одного парня на другого и отвечал своим излюбленным:

— Ну? Я э—цесный зид. Разве у меня деньги есть, цто ли?

Но первое, о чем спросили махновцы, заскочивши в Лукашевку, было:

— А где у вас тартары живут?

Затрещали двери Иоськиной лавчонки, послышался крик — и через минуту не бежал, а летел Иоська, без памяти выскочивши в задние двери. Длиннющий лапсердак то пугался у него между ногами, то развевался в воздухе двумя черными крыльями. Рыжие волосы растрепались и лезли в глаза. Словно мельница вертел Иоська руками-граблями, стремясь скрыться от своих врагов, неу-

клюже прыгал через грядки поповского огорода, расположенного подле его усадьбы. А вслед неся бешеный смех и дикие выкрики бандитов:

— Ату его, ату! Бей тартара!

Охотничий дух охватил компанию выроdkов. Двое верховых помчались на перерез, блестя кривыми саблями.

А навстречу, из поповского двора, обозленная дикой травлей, неслась со злобным лаем стая злых псов. Издавна не любили они Иоськи с его длинным лапсердаком.

— А ну, кто скорее?!

Внезапно ахнул выстрел.

— Вот дурак — пуля даром пропала!

— Да ведь я только попугать хотел...

Верховые возвращались, скверно бранясь: выстрел прервал развлечение.

Иоська лежал между грядок, неловко вывернув одну руку на спину, а другою охвативши голову, будто защитить ее хотел от острых сабель охотников. Между плечами сочилась кровь, дымящаяся, горячая кровь. Ее жадно лизали поповские псы. Они, говорят, сожрали потом и всего Иоську. Несколько ночей возле того проклятого места выли и грызлись, разрывая человеческое тело.

А Рохлю махновцы били долго и тяжело, выпытывая, где спрятаны деньги. Били нагайками, прикладами, вырывали волосы, выламывали руки, бросили наземь и, ничего не добившись — так как и добиваться нечего было — оставили без чувств на дворе

под окнами. Как она еще тогда не родила мертвеца, как это случилось с ней через неделю?!

Уже под вечер, оборванная, окровавленная с синим опухшим лицом, растрепанная и страшная ворвалась она ко мне в школу (я учительницей тогда была) с нечеловеческим криком:

— Лию— дочечку мою... ох, спасите! Дорогую мою, старшенькую... Только на тот свет, говорят, теперь без очереди... Я слышала, я видела... И это, говорят... ох, спасите!.. и это надобно в очередь...

Билась головою о дверные косяки, царапала пол скрюченными пальцами, захлебывалась, стена с подвываньем, как голодный зверь. Словно скользкие синеватые внутренности болтались голые, замазанные грязью груди. Сквозь отрепья изорванной юбки просвечивал выпученный живот, исполосованный нагайками. Вся в грязи, сукровице— и страшно и омерзительно было на нее глядеть.

Чем могла ей помочь? Но не было сил вырваться из цепких объятий, целовала ноги, тянула за руки.

— Ой, пойдем! Ой, спасите!

Побежали. Никого уже не было возле Иоськиной хибарки. Вокруг крылечка разбросана битая посуда, ящики, полки, клочки бумаги, оберток, веревки. Внутри полный хаос.

А Рохля тянула дальше, за перегородку, где на куче рухляди белело изнасилованное Лиино тельце. Тонкие руки венком над кудрявой головкой (так, вероятно, удобнее держать...), зубы крепко стиснуты,

на бледном лице выражение несказанной боли и ужаса, и везде—и на согнутых худеньких ногах, и на детских яблоках-грудах, и на разбросанных вокруг пуховиках — розовые капельки крови...

Кинулась к покойнице Рохля:

— Ох, лучше б меня, дочечка! Ой, лучше б меня!

А ее спас от хищной сволочи только омерзительный выпяченный живот...

Меня душило. Я очутилась на крыльце и, вцепившись до боли пальцами в перила, слышала, как на околице эхом перекатывалась маршевая песня уходящих налетчиков:

И по той бок гора,  
И по сей бок гора.  
Между теми  
Крутыми горами  
Всходила ясная заря...

А в комнате уже не кричала,— стонала безутешная мать, прижимая к себе мраморное Лиино тельце. Ох, ей было двенадцать лет. А тем, забившимся, как мышата, в угол под кроватью и теперь тихонько нывшим, не зная, можно ли уже выбраться из своего убежища— тем было четыре и пять.

Средних пара несколько дней прятались, как звереныши, где-то в лопухах на огороде. Едва их нашли родные, осмелившиеся через неделю приехать из местечка за семьей Иоськи.

Они, кажется, ночью похоронили и остатки Иоськиных костей. А лавочку его зимою разобрали люди на дрова.



Только поповский пес роется иногда в кучах сору  
щебня, что-то выискивая. Не найдя, поднимает  
скаленную пасть и жалобно, протяжно воет..

Я боюсь его, как привидения, как смерти. Я не  
плю в ту ночь: мне все мерещатся тени замученных  
юдей.

## ДРУЗЬЯ ДЕТЕЙ

Общее собрание сотрудников только-что началось, но желто-зеленая скука уже надвинулась на все и всех.

Ну какое дело Марку до „Друзей Детей“? Зачем они ему, если шесть ежемесячных „червяков“ не позволяют мечтать о потомстве и заставляют иногда конфузливо засматривать в окно аптеки? Что там плетет докладчик о новом хорошем быте, когда не будет бесприютных ни на улице, ни в семье? Знал бы он, как возражал старый отец Марка, когда, бывало, спрашивали по привычке: что новенького, что хорошенького? Усмехался покойный: „Много нового, много хорошего, но хорошее — не ново, а новое — не хорошо“.

Ну да! Где там видят этот новый быт, било б его громом? Разве в том, что должен вот тут сидеть на нудном собрании, общественные, видите ли, обязанности выполнять, когда тело и душа терзаются в удушливой атмосфере канцелярии, стремятся в городской парк, где, вероятно, уже прогуливается Манюся...

Ах, Манюся! Разве можно сравнить эту дивную девушку с женой, с Сашей? Разве щекочущие

беседы с этой маленькой волшебницей, полные настороженных намеков, оборванных на нервном полуслове, полные будто бы простых, но ведь только будто бы простых проникновенных фраз, красноречивых, вещих пауз,— разве эти вечерние получасовые беседы, украденные в конце серых, буденных суток, можно сравнить с однообразно-стереотипными, как промокательная бумага отвратительными, диалогами с женой?

— Что хочешь на завтрашний обед? Приходили из домкома: пора платить за коммунальные услуги... Надо починить башмаки — порвались совсем... Что-то болит голова, — вероятно простудилась... Если бы прибавили жалованья хоть немного, — очень уж тяжело приходится... Знаешь, мясо снова подорожало...

Тфу! Било б его громом — до чего же это все надоело! И та давно знакомая юбка Сашина, из-под которой обрубками пухленькие икры. И немодные дешевые блузки, под которыми трепещущим ходуном груди... Да все, все — и изумленно наивные дуги высоко поднятых бровей, и светло-карие маленькие глазки, и капризно надутая нижняя губа, и дерзко вздернутый кончик носа. Такое все притертое, до последней точки известное, осмотренное, ошупанное, в свое время обцелованное — и не смотрел бы!

А недавно Саша в это же учреждение деловодом поступила. Хорошо еще, что в иной отдел, где раньше немного начинают и позже кончают, а то

еще вместе ходить на службу пришлось бы. Достаточно этого счастья и дома, било б его громом!

Марк злобно глянул вокруг, на сгорбленные фигуры сотрудников, в беспорядке рассевшихся, где кому пришлось, и молча, понуро слушавших доклад. У каждого, вероятно, свои мысли, свои заботы, бесконечные, как книги исходящих и входящих бумаг, такие же сухие и неинтересные. Духота, гнетущая духота и тут, и во всей жизни... Кому тут нужны эти „Друзья Детей“, если мы все — враги детей, излишней тяжести, недостижимой мечты?

Тоскливый взгляд Марка на миг остановился на кругленькой женской фигуре в противоположном конце зала, чуть ли не одной из всех присутствующих с нескрываемым увлечением смотревшей на докладчика. Он говорил шаблонные, измызганные слова, провозглашал лозунги, которые, как надписи на трамвайных билетах, никто не читает, как трещанье пишущей машинки в канцелярии — никто не слышит. Но у него был молодой, звоном неисчерпанной жизненной энергии налитый и вместе с тем бархатный, ласкающий голос. Под мягким летним костюмом выпуклились линии-сильных пружинистых ног, мускулистой груди, широких плеч. А глаза, обыкновенные глаза здорового, самоуверенного и самодовольного от здоровья своего человека, победоносно осматривали аудиторию и иногда приветливо светили кругленькой женщине, едва не утопавшей тогда в них.

— Разве можно сравнить его с моим чучелом — мужем — с мягким животиком, с бессильными, как лента на пишущей машинке, руками, неспособными как следует обнять, прижать, чтобы истомно стало внутри и жарко груди? Разве не противно глядеть мужу в чернильные глаза, глупо торчащие в сером, словно пылью покрытом, лице? Да, когда-то они были любы, и в их черных зрачках так радостно было отыскивать свое собственное личико, потом — все ближе и ближе — только свои глаза, чтобы, наконец, нырнуть в теплые объятия, утонуть в сладком экстазе и уже не видеть ничего. Было... а теперь?

Нет! Лучше выйти отсюда, подождать там, в городском парке на боковой аллее, где будет возвращаться домой юноша — докладчик. Сказать ему, что она дальше так не может, что она также еще молода и здорова, что... он знает, он поймет — не даром так часто останавливает свой взор на ней.

Решено. Вот двери, ступени, двери входные. Какое облегчение! Как мягко целует разгоряченные щеки ветерок. Как наливаются мускулы в напряженном ожидании. Он скоро окончит свой доклад о „Друзьях Детей“. Друзья детей... Пусть будут и дети, если есть любовь... Но почему, если плод — облетают лепестки цветов? Неужели это всегда? У меня облетели они и без плода. Может быть именно потому? Тихе, тихе сердце, чего ты хочешь?

— А било б его громом! Довольно этих дружеских обязанностей. Пусть заботятся о детях, как бухгалтер о верном балансе. Я сведу свой баланс сегодня иначе.

Марк решительно поднялся. Двери, ступени, двери входные. Уже стемнело. Тесными парами туда и сюда прохожие. „Под ручку“. Бедные звери— они не знают наслаждения ходить с любимым существом „под ручку“. Да нет! Видели ли вы из окон вагона, как на пастбище, возле полотна железной дороги молча стоят лошади, положив крест на крест головы одна другой на шею? Иной ласки им не позволяет природа, а подлый человек разделил их дышлом и постромками. Снова— да нет! И людей разделяет брачное дышло. Как меня с Сашей... Бежишь плечо в плечо в неведомую даль под кнутами судьбы с постромками разных обязанностей. И нет сил придвинуться близко, нежно обнять шею подруги. Манюся— это иначе. Манюся свободна, и я к ней свободен. Вот там, в парке... уж скоро...

Густая аллея тенистых деревьев темным коридором проглотила Марка. Тут направо, тут еще раз направо— и будет излюбленная скамейка под кустом сирени, традиционным кустом сирени, где соловей и месяц... Но что сделаешь, если хорошее— не ново, а новое— не хорошо, снова припоминается Марку отцовский афоризм. Не под электрическим же фонарем назначать тайные любовные свиданья?

Марк еще издали заметил белую фигуру на условленном месте. Милая Манюся ожидает! Зайти

сзади, из-за куста, закрыть ладонями любимые глазки — узнает ли? Успокоить в нежных объятиях, если испугается. Шаг, еще тихий, осторожный шаг — и словно крыльями птицы к знакомой кудрявой головке. Измененным, ласкающе-бархатным голосом протяжно:

— Лю-блю!

Забилось в радостном трепете женское тело, запрокинулась страстно назад голова, жадными устами ища уст милого — и слились два существа... ну зачем говорить — в чем? В нашей сентиментальной истории достаточно напомнить о традиционной сирени, умеющей скрывать и не такие еще тайны.

А так как мы не хотим персонифицировать растение — тем больше имеем право сказать, что никогда она, эта сирень, не передаст никому дальнейшего разговора после поцелуя.

— Саша! — Изумленно-испуганный взгляд, скрытый в темноте парка. Ведь жена должна была быть там, на собрании...

— Марк! Это... это ты пришел? Ты любишь? Ты сказал, что меня любишь? — растерянно, неуверенно-радостно.

— Люблю, конечно, люблю, Саша! Ты ж видишь...

— Вижу, милый, верю, хочу...

Я не знаю, и вы, вероятно, не знаете, сколько искренности было тогда у моих героев, но я наверное знаю, что с того времени они стали хорошими членами общества „Друзья Детей“.

## ТЫСЯЧИ В ЕДИНИЦАХ

Имена их ты, революция, знаешь! Да зачем имена? Их много таких, как рассказано здесь, их тысячи в этих единицах. Они не были коммунистками, не были солдатами революции. Но они принесли на ее алтарь свою вдовью лепту. И я вспоминаю о них с благоговением. Было это все в Киеве, но разве не так же было везде, где бедноте нечего было терять, идя против господ? Теряла свой привычный жизненный уклад, теряла любимых, теряла собственную жизнь... Много их было, этих тысяч в моих единицах. Расскажу по очереди.

Две в подвале жили. Коробчицы. Коробки для папирос клеили. Одна когда-то карболкой травилась. До сих пор на подоконнике бутылочка с едким питьем стоит. А к другой железнодорожник ходил, сцепщик. Давно пожениться хотели, да денег не хватало, чтоб хозяйством домашним обзавестись. Вдруг приходит и говорит: „Иду в гетманскую охрану. Хорошие деньги дают“. Поглядела, кинулась: „Не придется тебе наших братьев-рабочих расстреливать“. И плеснула карболкой в глаза.



В столовке служила. Жарила, варила, хозяйских детей няньчила, комнаты прибирала, на базар бегала, гостям кушанья подавала. Держали, так как красивой девушкой была. А напротив заводские ворота. Видит как-то утром — сотня белогвардейцев идет рабочее собрание разгонять, революционеров арестовывать. Во главе — полковник. Роба красная, жирная. Ох, и били, ох и секли! И нагайками, и саблями. Упарился полковник, идет в столовку чем-либо прохладиться. — „Эй, красавица, приходишь вечером ко мне?“ — „Приду“. Сказал бы, если бы знал, чтобы не приходила лучше: как заснул, утомившись, полковник — больше и не проснулся.

Два дня в избе кавалерист-красноармеец жил. В руку раненный. Белые наступают, уходить надобно. „Как же это ты без оружия будешь?“ — старушка-хозяйка спрашивает. Пошла, где-то в овине драгунскую винтовку внука своего разыскала. Только вот ремня нету. Одной рукой править будет, а другая — больная. Посмотрела на иконы и сняла полотенце вышитое. Сама целый пост когда-то вышивала — богомольная была. — „Езжай, сынок!“

На базаре сидела, милостыню просила. Да какая тут милостыня, когда кругом бои, стрельба? Только вечером кто-то сердобольный отыскался, на колени свежую франзольку положил. Белая, пахучая Домой поплелась. Там еще девочка-внучка ужина

ждала. Когда вот на площади двое часовых-красноармейцев разговаривают: „Целый день с юнкерами дрались, да и завтра жарко будет, а во рту и крошки не было.“— „Берите, детки, франзольку, всего вам счастливого!“

Больная слесарша была, ноги болели. Едва-едва возле печи управлялась. А на базар сам слесарь ходил. Встанет рано поутру, побежит, принесет, а тогда уж и на завод. Вдруг на продналог отправляют. „Езжай, муженек, скорей! Меня кормил, теперь многих накормишь.“

Незнакомый парень, вероятно, красный партизан, вбежал быстро в избу.— „Спасай, девушка, офицеры догоняют!“— „Лезь под полати, мешками загорожу“. Пристали: „Врешь, собачья душа, больше нигде было спрятаться!“ Били, волосы вырывали, на пол бросили, честь девичью забрали. Пришел отец— и отца избили, лошадь в наказание увели. А за мешками и не досмотрели.

Сапожничиху погромщики убили. Сидит сапожник с малыши детками, плачет: „Это за то, что мы еврейями родились“. Пришла горничная из барского дома, говорит: „Чтоб я барам служила?— Бери лучше меня замуж, твоим младенцам матерью буду“.

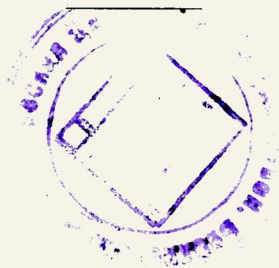
На сходе крестьяне председателя сельсовета избирают. Каждый отговаривается: „Времени нет, хо-

зайничать некому.“ Солдатка-красноармейка говорит: „Так хозяйничайте и за меня, а я за вас в совете буду“.

Хозяйский сын приставать начал. Да и он девушке понравился. Молодой, красивый. Обещал серебром-золотом осыпать, барыней сделать. А на фабрике гуторили—изменница. Пришли красные, буржуи удирают. Прибежал к ней милый спрятаться. Застелила стол, накормила, поцеловала, а сама в штаб красных пошла: „Берите там у меня барчука, будет уже, намиловалась“.

Конец. Собственно—не конец, так как много было тысяч, много единиц, которые отражали жизнь этих тысяч. Разве про всех перескажешь? И кто из них лучше, кому большая честь надлежит? Говорят, что легче решиться на самоубийство, чем бросить курить папиросы. Легче сломать всю свою жизнь, чем изменить ежедневной привычке.

И было много таких тысяч в таких единицах. Они были дочерьми Октября, а, может быть, родились и раньше.





## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Грех . . . . .	5
Кара . . . . .	10
Броневик . . . . .	23
Спец-репортер . . . . .	32
Возвращение . . . . .	36
Любовные приключения . . . . .	44
Когда плакал отец . . . . .	56
Страха ради комиссарского . . . . .	69
Афарбит . . . . .	72
Тамбовцы . . . . .	86
Джон-Вильям Петерсон . . . . .	100
На тротуаре . . . . .	106
Банда . . . . .	117
Часы . . . . .	121
В бору . . . . .	125
Желтый ридикюль . . . . .	135
За что? . . . . .	139
Друзья детей . . . . .	148
Тысячи в единицах . . . . .	154

---











